



БАҲРОМ  
ФИРЎЗ

РУҲСОРА

**БАХРОМ ФИРУЗ**

**РУХСОРА**

ДУШАНБЕ

«АДИБ»

1990

Нет мужества — не ищи счастья.

*Саади*

## 1. ДЕВУШКА ИЗ ХАЛКАСАЯ

Летом того года я окончил институт и уже оформил на кафедре свой первый «рабочий» отпуск, а она только что сдала документы в приемную комиссию. Познакомились мы случайно. Меня задержали в городе хлопоты, связанные с обменом просроченного паспорта и, если бы не это, досадное в тот момент обстоятельство, наверняка наши судьбы сложились иначе, и не было бы не только этой повести, но и многого другого в моей жизни...

Тот день никогда не изгладится в памяти. В глубокой задумчивости я стоял у фонтана, зачарованный переливчатой игрой струй. Вдруг кто-то окликнул меня, и я нехотя обернулся, все еще во власти медлительного звона воды, ленивой отрешенности мыслей и завораживающего блеска солнечных зайчиков. Неподалеку от фонтана нетерпеливо топтался проректор нашего института, и отрешенная лень мыслей оставила меня: кому не известен дотошный и властный характер проректора?! Сейчас он шевельнет тяжелыми бровями и грозно спросит: «Почему ты не в отпуске?» А меня удерживал в городе лишь просроченный паспорт. Срок его действия истек за неделю до госэкзаменов и кому, скажите на милость, придет в голову думать в это время о чем-либо другом, кроме экзаменов?

Сейчас же мне попросту нечего было делать и я, по привычке, каждый день шлялся в институт. А, собственно говоря, куда и зачем спешить? Может отпускник позволить себе скромное удовольствие — несколько дней беззаботной и безалаберной жизни? Ни тебе экзаменов, ни семинаров — гуляй по парку, ходи в кино, знакомься с девушками... Когда еще такая возможность в следующий раз представится! Слов нет, город порядком надоел, соскучился я по вольному деревенскому воздуху, но... Жить и работать придется все-таки в городе...

Сразу после госэкзаменов «коридорное радио» всю затрезвонило о том, что меня-де оставляют на кафедре. Такого я не ожидал, честно говоря, удивился и не поверил — самое время для

розыгрышей. Но... Все оказалась гораздо серьезнее, чем я думал. Особенно реакция сокурсников. Вдруг выяснилось, что претендентов на это место более чем достаточно, на меня со всех сторон посыпались остроты, поздравления и нарочитые соболезнования. Одни, оттянув за рукав в укромное местечко, жарко убеждали не отказываться от предложения, другие скептически улыбались, третьи небрежно отмахивались: «Бросьте трепаться. Это его-то оставят на кафедре?» Более всего меня обидело якобы «всеобщее» мнение о том, что я не достоин подобной чести. Гордый человек в таких случаях... А я не знал — гордый я человек или не гордый? Тем более, работать с самим Джура-заде... Можно ли мечтать о другом счастье?!

От этих мыслей немногочисленных советов я до того обалдел, что, когда меня пригласили в зал, где заседала комиссия, и ректор объявил: «Кафедра ходатайствует перед министерством о...», — у меня в голове назойливо попискивала лишь одна, маленькая и серенькая, мыслишка: «А вдруг лаборантом назначат?». Я молчал, резонно опасаясь ляпнуть нечто совершенно несусветное, и молчание мое весьма удивило комиссию. Ректор, сухо кашлянув, посмотрел поверх очков вначале на меня, потом на заведующего кафедрой Джура-заде и несколько раздраженно спросил:

— Вы... Что? Не хотите работать в институте, который пять лет был вашим родным домом?

— Да нет,— замялся я и, набрав в грудь воздуха, по-солдатски гаркнул:— Согласен. Конечно. Спасибо.

Ну кто на моем месте стал бы расспрашивать комиссию о планах профессора Джура-заде. Я не осмелился, тем более, что у меня-то планов не было никаких...

Воспоминания — воспоминаниями, а ноги в это время сами несли меня к грозному проректору.

— У меня к вам просьба,— величественно шевельнул бровями профессор. — Отведите, пожалуйста, эту девушку в четвертое общежитие, найдите коменданта и скажите, чтобы выделил место. Вот направление...

Проректор подал мне листок бумаги и неопределенным жестом присоединил к нему девушку, которая стояла рядом. Абитуриентка?

На первый взгляд спутница моя ослепительной красотой не отличалась. Обыкновенная девчонка-десятиклассница. Впрочем, особенно разглядывать ее я не стал — не в обычае у нас парням девушек

разглядывать. Причин тут много. В дальних кишлаках и до сих пор старики на совместные игры мальчишек и девчонок косо поглядывают. А ведь я не городской. С другой стороны, меня всегда робость охватывает, когда с незнакомой девушкой приходится разговор начинать: вдруг брякнешь какую нелепость — виду не покажет, а в душе посмеется. В мыслях с ангелом небесным ее сравниваешь, а вслух о погоде бормочешь и от стыда сгораешь — до того коряво получается.

Некоторые девчата всерьез притворяются, что болтовня парней о погоде или новом фильме им интересна, и даже вопросы задают... Раньше, когда к нам в кишлак новое кино привозили, заодно и лектора присылали, чтобы перед началом сеанса политико-воспитательную работу проводили. Мне всегда казалось, что у всех девчат природный талант есть — из самого бессмысленного разговора его подлинную суть выловить. У скульптора спросили:

— Как вы работаете?

— Очень просто, — ответил он. — Беру камень и отсекаю все лишнее.

Вот так и девчата — отсекают все лишнее...

Мы уже почти квартал прошли и я, так и не глядя девушке в лицо, попытался завязать разговор:

— Поступаете в институт?

Девушка утвердительно кивнула головой, а меня аж передернуло от отвращения к самому себе. Спросил бы хоть на какой факультет! Комкать разговор мне не хотелось, и я лихорадочно раздумывал: о чем бы еще спросить, чтобы не показаться навязчивым? Я осторожно повернул голову и... Наши глаза встретились! В великой растерянности — осколки моего разбитого сердца со звоном и грохотом рассыпались по асфальту, я едва нашел в себе силы пролепетать:

— А почему до сих пор не дали место в общежитии?

— Не знаю, — девушка равнодушно пожала плечами.

Мне до смерти хотелось еще раз заглянуть в бархатно-нежную глубину ее черных глаз, но девушка отвернулась. Увела свой взгляд в пещеру застенчивости. Про себя я подумал, что она уже почувствовала свою власть над моим сердцем. Мне хотелось так думать.

— Откуда вы? Не из Файзабада?

— Нет, из Халкасяя.

— Из Халкасяя?! — тут было чему удивляться, и я, не скрывая своего удивления, оглядел свою спутницу с головы до ног. Девушка поняла причину моего изумления и горделиво улыбнулась. Теперь у меня была тема для разговора! Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на песок и вновь возвратившейся в прохладную глубь вод. Девушка все еще улыбалась...

«Да она и впрямь еще школьница,— подумал я.— Лет семнадцать-восемнадцать, не больше. А когда улыбается, мелкие белые зубы сверкают, как рисовые зернышки. Фигурка у нее тоненькая, легкая, а кожа белая. Две тяжелые косы достигают талии и горделиво вздрагивают, когда она вскидывает голову. Характер, видать, крутой — вон, как упрямо и независимо поглядывает своими черными глазницами. На бровях зеленовато-черный след усымы: вот откуда этот пряный и свежий аромат! Странно, еще пять-шесть лет назад девушек из Халкасяя привозили в институт чуть ли не на аркане — со многими уговорами и бесчисленными льготами. А сегодня... Сама приехала, да еще и общежитием не обеспечили. От жизни, друг, отстаешь,— упрекнул себя.— А ведь она, жизнь-то, течет, изменяется. Диалектика!»

— Вас могли бы и без экзамена принять, — сказал я, вспомнив прошлые годы.

— Чем это я хуже других?! — слова мои явно не понравились девушке, она нахмурилась и мгновенно погасила улыбку.

— Я не сказал, что вы хуже, наоборот...

— ???

— Вы... Одна приехали? — сбивчиво пробормотал я.— Вас разыскивать не будут?

— Да нет,— легкая тень улыбки скользнула по ее губам.— Родные согласны. Но если не поступлю... Больше не отпустят!

— Поступите! — я был уверен, что она поступит. Не может такого быть, чтобы она — да не поступила!

— ??? — крылья ее бровей вопросительно возметнулись вверх. — Вы тоже учитель или...?

— Я в том году закончил институт, а теперь буду работать на кафедре,— не удержался я от похвальбы.

— А-а-а,— наступившее вслед за тем молчание словно бы разъединило нас. Верно сказал поэт: «В доме красавицы не следует

кичиться знаниями». Теперь и пол словечка не скажет — где уж нам, деревенским, с таким ученым разговаривать! Дернул же меня черт за язык!

До общежития мы дошли в благопристойном и несколько отчужденном молчании.

Коменданта общежития на месте не оказалось. Я долго бродил из комнаты в комнату, заглянул в кладовку, подвал, но никого не нашел и лишь под вечер один сведущий человек (есть же такие люди — все знают) сообщил мне, что комендант занят ремонтом и раньше завтрашнего утра в общежитии не появится. Вот те и на: что я девушке скажу?

Спутница моя сидела на скамейке у бассейна, погрузившись в толстый том «Органической химии».

— Не будет сегодня коменданта,— виновато сообщил я ей, усаживаясь рядом.— Давайте утром придем. Сегодня-то вам есть где переночевать?

Девушка из Халкасия задумалась. Тень легла на ее лицо, легкая тень обиды и — неожиданно — печали, но длилось это всего лишь мгновение, потому что она тут же сурово сдвинула черные крылья бровей:

— Домой поеду. Утром здесь встретимся.

— Лишнее беспокойство,— нерешительно произнес я.— Да и поздно уже. Наверное, и автобусы не ходят. «Черт бы побрал этого коменданта!»— добавил я мысленно и взглянул на девушку.

Сжавшись в комочек, она сидела на скамейке — самая одинокая на всем белом свете. Одинокая и обиженная. На весь белый свет. Я представил, как она вернется сегодня домой, как сочувственно будут глядеть на нее родные: «Ну, что? Ждали тебя там? Обрадовались? Даже места в общежитии не нашлось!»...

— Знаете что? — спасительная мысль молнией сверкнула в моей голове, и я даже задохнулся — так проста и прекрасна была эта мысль.— А чего мы здесь сидим? Пойдемте к нам. В наше общежитие. Будете спать в комнате у наших девушек, свободные кровати есть — сейчас каникулы...

— Э-э-э, зачем людей беспокоить,— девчонка тонкими пальцами растерянно перебирала страницы своей «Органической химии» и

украдкой пыталась поймать мой взгляд: что-то она хотела прочесть в моих глазах. Что? — Я лучше к дяде пойду...

— Поздно уже,— твердо сказал я и подумал, что наверняка нет у нее никакого дяди в городе, что девчонка просто боится и надо немедленно рассеять все ее страхи — Девчата у нас боевые. Они вас в беде не оставят— подскажут, посоветуют, да мало ли что. Пошли!

И мы пошли. Девушка из Халкасаия то семенила рядом, то отставала на полшага, но шла довольно уверенно и, хотя разговор наш состоялся из обрывочных слов: «Устала?» — «Нет», «Проголодалась?» — «Не очень», я не чувствовал в ней какого-то особого беспокойства и, честно говоря, не ожидал подобной смелости. Поздно вечером, с незнакомым парнем, в чужое общежитие — кто поверит, что девчонки из Халкасаия стали такими отчаянными?

Халкасай я знал. Да и кто не знает — стоит лишь голову поднять — вон он, Халкасай, крохотными кибитками прилепился к самому гребню хребта и, кажется, парит над окрестностями. Впрочем, это так лишь из города кажется. Сами халкасайцы прекрасно знают, что прямо за кишлаком вздымается еще одна скалистая гряда, за ней — вторая, третья и так до самого неба. По прямой от Халкасаия до города — всего двадцать четыре километра и все вниз, вниз, недаром в кишлаке шутят: «Стоит только поскользнуться — мигом в Душанбе окажешься!» Многие кишлачные мужчины работают в городе, но окончательно вниз перебираться не спешат. А зачем? Кишлак богатый, благоустроенный — электричество, магазин, клуб, библиотека, большая двухэтажная школа, дома колхозников под шифером стоят, антенн телевизионных не счесть — чем не город?

И все же отличие было: в поговорку вошла приверженность халкасайцев старым обычаям и древнему укладу жизни. Куда более отдаленные кишлаки давным-давно сменили свой жизненный уклад, а халкасайцы стояли, как утес — ни благоустройство, ни электричество, ни телевизионные программы потрясти их жизненные устои, казалось, не могли.

Помнится, года четыре назад, несколько комсомольских активистов нашего института (и меня в их числе) направили в Халкасай с особым поручением...

От околицы кишлака и до правления колхоза водитель нашего микроавтобуса не снимал ладони с блестящего колпачка сигнала —



кишлачные улицы были переполнены детворой. «Небось, не меньше десятка пострелят в каждой семье», — опытно определил водитель.

«Особое» наше задание никакой таинственностью не отличалось. Наоборот, оно требовало гласности, гласности и еще раз гласности. «Привлечь максимальное число девушек из Халкаса в стены родного института!» — так кратко сформулировал нашу задачу секретарь комитета комсомола, посоветовав действовать решительно и энергично.

Так мы и действовали. Пока в клуб собирался народ, мы распределили обязанности на сегодняшний вечер: Лутфулло расскажет о роли женщины в строительстве социализма, я — об институте, его факультетах, специальностях, которые мы получим. Даври и Назокат — о великолепных условиях, созданных в нашей «альма матер» для девушек-студенток. Девушкам — выпускницам десятых классов, собственно говоря, и предназначалась наша лекция.

Незадолго до начала мероприятия Лутфулло заглянул в клуб и ахнул. Через его плечо глянул в раскрытую дверь я и тоже ахнул. Потом мы молча переглянулись. Зал был полон! Но кто сидел в зале?! Мужчины, старые и пожилые, пожертвовавшие ради удовольствия выслушать нас неторопливой и приятной беседой в ближайшей чайхане, десятка полтора усатых, как гренадеры, парней и четыре — всего лишь четыре! — девушки. Они молчаливо-испуганной кучкой сгрудились на скамейке в дальнем углу зала и лишь еще ниже опускали головы, когда мы дружно умоляли их пройти вперед.

Лекция прошла блестяще. Никто не шумел, не переговаривался, слушали внимательно и заинтересованно, а по окончании мероприятия сердечно благодарили: «Спасибо, дорогие гости, спасибо! В такую даль приехали ради нас! Спасибо!», «Свет ваших знаний осветил нашу темноту!», «Вашим устадам-наставникам спасибо, хорошему они вас учат!», «Верные вы слова, сынки, говорили, правильные слова, на сто процентов верные. Абсолютно вы правы, дорогие!» И разошлись.

Один из выпускников нашего института как раз в Халкасае гостил и нас к себе ночевать позвал. Его отец — колоритный такой старец, общительный, весь вечер наши сердца беседой улаждал. Учиться-то ему, по всему видать, недолго пришлось, но жизнь дед знал, как собственный халат, и за словом в карман не лез — не зря же телевизор в доме и газеты каждое утро почтальон приносит.

Лутфулло повел было речь о положении кишлачных женщин: неграмотные-де они, счастья в жизни не видят, а мужчины целыми днями в чайхане...

Дед хитро прищурился на разгорячившегося Лутфулло, мягко тронул седую бороду и сказал так:

— Правильно, сынок, говоришь, но я тебе еще правильнее скажу: наша жизнь для женщин спокойнее. Может быть, они и не так красиво одеваются, не так вкусно едят, в театры не ходят, но, клянусь аллахом, спокойней живут. Не-е-ет, ты подожди, дорогой, не возражай пока,— старец жестом твердой жесткой ладони остановил рванувшегося в спор Лутфулло. Ладонь у старца что надо: крепкая ладонь, мужицкая...— В городе женщины работают наравне с мужчинами. Так? А кто пеленки, я спрашиваю, стирает? Кто обед готовит? Кто на базар и в магазин ходит? И, спаси аллах, на работу опоздать! Вы говорите, что освободили женщину, как это... по-научному,—старец пожевал губами, припоминая, как это будет по-научному. Экий эрудированный дед! Таких дедов и в городе не на каждом углу встретишь.— Яман... эман... эманципировали! Себя вы освободили, а не женщину эманципировали. Тьфу! — разво-евавшийся дед залпом осушил пиалку с остывшим чаем, аккуратно вытер край уголком скатерти, передал пиалу сыну и продолжил с новыми силами. Трибун! Этот, как его... Цицерон!

— Наши женщины тоже от коллектива не отрываются. Нет. На самосознании живут. Если детей нет или есть кому за детьми присмотреть — она дома не сидит, в поле работает... По собственному желанию трудиться идет!... Вот ты сказал, — старец дружелюбно хлопнул Лутфулло по коленке, — что женщины должны идти в первых рядах. Что ж, по-твоему, женщины нашего кишлака сидят, сложив руки? Э-хе-хе-хе! Молод ты еще, сынок! Из того самого Халкася, если не ошибусь, восемь женщин — Герои. Считаю, у каждой из наших женщин чуть ли не по тубетейке орденов да медалей! Верно, я говорю? — дед мотнул головой в сторону сына: подтверди-ка.

Парень лишь ухмыльнулся и заметил дипломатично:

— Восемь Героинь — это верно, и медалей у каждой хватает. За многодетность. Они — матери-героини...

— А какой еще героиней должна быть баба? — гремел неугомонный дед.— На тракторе верхом скакать? Горы переворачивать? Ее дело — детей рожать и растить! Моя бы воля, за одно за это...

Дальнейших речей деда я не слышал — проснулся лишь утром, когда мы приступили ко второй части нашей агитационной кампании: личным беседам с родителями десятиклассниц. Вместе с председателем сельсовета, директором школы и инструктором райкома комсомола пошли по домам.

Без славы завершился наш поход. Я всегда думал, что хорошо знаю родной язык — куда там! — негодующие жительницы Халкася, те самые «спокойные и геройские» женщины, вот кто истинный хранитель наших заповедных сокровищ. Каких только слов мы не наслушались! Каких цветастых выражений и словосочетаний! В конце концов удалось уговорить родителей лишь двух девушек — отцом одной из них был сам председатель сельсовета, но по уверенным глазам ее матери было ясно, что не пройдет и недели, как девица, под любым предлогом, будет дома... С тем мы и уехали. На мой взгляд, детей на кишлачной улице за это время прибавилось.

Что-то у меня сегодня день воспоминаний складывается. Старею? И не только воспоминаний... Неудач тоже. Ни одной из наших девчонок дома не оказалось. Куда их только унесло? Девушка из Халкася смотрела на меня глазами, полными отчаяния, и ресницы у нее дрожали от близких слез. Что же делать? Я еще раз подергал двери «девичьих» комнат. Никого. Странные чувства обуревали меня. С одной стороны, было приятно и радостно проявлять заботу о столь симпатичной девушке, с другой стороны... Из глаз этой милой и несравненной вот-вот хлынет Ниагара слез. Что делать? Решения в этот день я принимал на удивление быстро.

— Вот что,— резко, стараясь скрыть свой стыд и страх и не глядя в глаза девушке, сказал я.— Я в комнате один живу. Будете спать на моей кровати...

— Что-о-о?! — девушка вытаращила глаза и, презрительно наморщив нос, отступила назад.— Я думала...— бледнота заливала ее лицо.— Я думала, что вы человек... И поверила...— договаривать она не стала, лишь с отчаянием махнула рукой и бросилась к выходу.

— Пойдите! Остановитесь! Вы не поняли... — закричал я, метнувшись к двери.— Что случилось? Куда же вы? Что я плохого вам сказал?

— Хватит! — резко оборвала меня девчонка.— Поняла. Отвратительно все это. Идите к черту со своим общежитием и со своим

институтом! — горькие рыдания перехватили ей горло и, легонько отстранив меня рукой, она шагнула в темноту.

— Ну вот,— потерянно пробормотал я.— Проявил заботу!

Меня трясло от злости на самого себя, коменданта общежития, наших девчат, эту недотрогу из Халкасия и весь этот чертов кишлак. Эх, зря я ей не ответил! Но злость постепенно проходила, и я с раскаянием подумал о том, что девушка не виновата, откуда ей знать о моих намерениях, в городе для нее все чужие... И зачем только я ее отпустил? Куда она пойдет? Был бы сейчас рядом Лутфулло — он бы прямо сказал: «Лучше б тебе умереть, друг мой. Двадцать три года живешь на свете, а ничему так и не научился! Обидел беззащитную девушку и выгнал на улицу. Поступают ли так мужчины?» Лутфулло всегда выражается не только высокопарно, но и определенно — душой, даже ради дружбы, не покривит.

Все это я додумывал уже на бегу. Чуть ли не кувырком скатился с крыльца, со света — во тьму, налетел на деревце и, едва удержавшись на ногах, схватился за тонкий ствол.

— Что — охмелел?

Суфи стоял рядом — чуть не сшиб я его, и хохотал во все горло. Я отвернулся.

— Да ты не обижайся, чужак,— Суфи шагнул ко мне идохнул в лицо водочным перегаром.— Заболел, что ли?

— Иди... ты! — я оттолкнул его в сторону и помчался по улице.

Ну и набегался я в тот вечер! Увидел бы кто из знакомых, подумал — беда случилась а и впрямь — беда. Я расталкивал прохожих плечами, наступал на ноги, у кого-то выбил стопку книг из рук — мне вслед неслись бранные слова, но я ничего не слышал. Вот она! Я схватил девушку за плечи, рывком повернул к себе... Громкий, негодующий крик так и резанул мне уши. Я отшатнулся. Не она. Бедняжка. Спряталась за спины подружек и поглядывает на меня с ужасом и интересом. Задыхаясь, я кое-как пролепетал слова извинения и побежал дальше. Дружный девичий смех раздался вслед, но я даже и не оглянулся. Смешно им, видите ли.

Свою подопечную я нашел на остановке автобуса. Увидев меня, она отвернулась. А я, уже шагом, шел к ней и приглядывался — не ошибиться бы вновь. Она!..

— Вы не поняли... я не это хотел сказать... обиделись, — я глотал воздух, как рыба на песке, и никак не мог объяснить, что я хотел сказать там, в общежитии. Автобус, прозрачный как аквариум, вылетел из тьмы и остановился рядом с нами. Девушка шагнула к подножке, но я — сам не знаю, как осмелился! — схватил ее за руку:

— Подождите! Не надо!—умолял я ее, а она со злостью тянула свою и мою руку к себе, порываясь сесть в этот дурацкий аквариум.

— Отпустите! Человек вы или... — в ее голосе закипали слезы, но я не мог, не хотел выпускать из своей ладони ее маленький крепкий кулачок — стоило ей уйти, и моя жизнь оборвалась бы. Это я знал наверняка.

Наша схватка не осталась незамеченной. Любопытные пассажиры высовывались в окна, выглядывали в дверь:

— Эй! Отпусти!.. Зачем девушку обижаешь?!

— Хоть бы постыдился — руки ей выламывает!

— Слышишь, дорогой! Не отпускай! Не давай уйти! Где такую еще красотку найдешь?!

— Да оставь ты ее! Кому такая... нужна.. Не птичье молоко.

Меня ругали, поощряли, грозили... Какой-то коренастый мужчина все норовил достать меня из окна здоровенным, как чайник, волосатым кулаком и кричал:

— Эх, жаль, не место — ты бы у меня все зубы свои проглотил!

Так я и знал — прорвалась Ниагара! Слезы у девчонки хлынули рекой, слышно было даже, как они крупными каплями стучат по асфальту. Я отпустил ее кулачок и растерянно топтался, готовый сесть с ней в автобус... Девушка, низко нагнув голову, молча и отрешенно побрела прочь от автобуса.

Я шагал рядом и размышлял о капризах женской природы. Вот эта, например, ведь слова доброго еще мне не сказала, а... Приворожила! Другие же красотки... (По природной застенчивости широких знакомств в их кругу у меня не было, но я полагал, что, по книгам, кинофильмам и рассказам друзей, хорошо знаю этот круг.) особых симпатий у меня не вызывали. Скорее напротив... И трех слов не скажет, а уже скучно слушать. Или сплетничают, или сами себя хвалят. Бывало со мной такое. Увидишь на склоне горы яркое пятнышко — ну, думаешь, тюльпан! Подбежишь поближе — тряпица! Со стыдом возвращаешься на

тропинку, угрюмо бормоча под нос: «Какой дьявол эту тряпку занес туда?!».

Мы молча пересекли проспект Ленина и глухим переулком вышли на улицу Хайяма. Странная эта улица — она, словно ворот чапана отделяет равнинную часть города от нагорной, где домики ступеньками лепятся один над другим. Девушка остановилась и растерянно огляделась по сторонам.

— Где здесь улица Зайнаббиви? — все еще не глядя на меня, сердито спросила она, и я улыбнулся в душе: заговорила все-таки! Не хотела бы разговаривать — вон магазин, фонари горят, люди ходят, могла бы и у них спросить...

Квартал этот я знал хорошо — столько лет агитатором в этом районе был! Всех избирателей, чуть ли не в лицо, знаю... Тут и идти-то всего ничего. Пошли. На перекрестке девушка остановилась;

— Вы идите, — тихо попросила она. Все еще обижается?

— А вы куда?

— У меня дядя... Здесь у него дом...

— Он хороший человек?

— Хороший... учитель. Я с его дочкой дружу.

— Может быть... я вас провожу. На всякий случай. Мало ли...

— Нет! Нет!.. Возвращайтесь. Не надо...

Я остановился. Тон у нее очень серьезный — не обиделась бы опять, если настаивать начну.

— Ладно. Утром приходите. Обязательно приходите, слышите? — говорил я ей уже в спину — девушка уходила не оборачиваясь, лишь галошки по гравию шаркали. Быстро так — шарк, шарк, шарк...

Несколько мгновений я постоял, прислушиваясь к скрипу и шарканью ее галош. Потом шаги стихли... Ну и денек мне выпал сегодня! И не то, чтобы настроение плохое, а так... Будто готовился, готовился к экзамену, а ответить не смог. Поплелся потихоньку к себе в общежитие, размышляя о том, что в кои-то веки встретился на моем пути ангел, а я и его ухитрился обидеть. Надо было пойти посмотреть, где это ее дядя живет?

Пути человеческие неисповедимы. Никому не дано знать будущего, и мог ли я предполагать, что придет день, и хозяин этого неизвестного дома понадобится мне?

## 2. РУХСОРА

Проснулся я рано и долго валялся в постели — солнечные зайчики беспорядочно плясали на стекле, и такими же беспорядочными скачками я думал о вчерашнем дне, о жизни своей...

Интересная девушка... А обиделась зря. Впрочем, на ее месте я бы тоже обиделся. Скажете, нет? Придет или не придет? Где письмо проректора? Вот оно — письмо. Куда она без него? Ладно, пару часов здесь подожду, а потом подамся в четвертое общежитие. Придет или не придет?

Нет у меня таланта с девушками знакомиться. Ну что поделать — нет таланта. Вон другие парни — слово за слово, смотришь, уже девчонка хохочет, а он ей — лучший друг. Мало я читаю, вот что. Ни одного романа в последнее время до конца не осилил. Правду говоря, и цена этим романам — грош в базарный день. Но все же. Читать надо, развиваться. А то... Так и просижу весь век... «в девках». Раньше я таким не был — хватало энергии и глупости анекдоты в записную книжку записывать, поучительные бейты, хлесткие словечки. Слава аллаху, понял потом, что чужими зубами хлеб не жуют. Хотя — кому что...

Вон Исрофил-заде... Он и по своему предмету ничего не читает, а уж художественную литературу... Зато на общие темы — краснобай, каких поискать. И в институте авторитетом пользуется, чуть ли не передовым преподавателем считается. Хотел бы я знать, кто и как это определил? Наша группа терпеть его не могла. Как он лекции читал? Откроет свой конспект составленный, видать, еще во времена Адама и Евы, и пошел бубнить. А мы записывай. Сколько часов, дней угробили мы на переписку этого конспекта?!

Любой другой на его месте давно бы уж собственный конспект наизусть выучил, а Исрофил-заде и на это не способен. Иной раз наберется смелости, отойдет на два - три шага от стола и тут же возвращается — никак не может мысль собственными словами выразить. Помнится, вышел он однажды среди лекции из аудитории, а Суфи возьми да переверни несколько страниц в его тетради... Пришел Исрофил-заде и, как ни в чем не бывало, стал читать дальше. Совсем другую тему... И кому нужны такие лекции? Лучше уж учебник — там и яснее, и четче все изложено. А чего нет в учебнике, того и сам Исрофил-

заде не знает. Вначале мы пробовали обращаться за разъяснением, а потом рукой махнули — что толку?

В последнее время мы на его лекциях дремать приспособились. Устроишься поудобнее, ручку в страницу уткнешь и дремлешь. Хитрец Суфи, тот умудрялся в полудреме еще и слова писать. Одни и те же, правда; «О, Лейли, Лейли, Лейли...» Конечно, были ребята, которые слово в слово лекции Исрофил-заде записывали и наизусть зубрили. Я их не любил. Готовые бюрократы растут — эти-то уж сами думать не станут, все, что полагается по службе знать, — наизусть забубрят.

А впрочем... Наверное, не только в краснбайстве тут дело. Мало ли я знаю ребят, которые ни красноречием, ни атлетическим сложением не отличаются, а вот поди ж ты — находят с девушками общий язык. Нет, никогда не постичь мне тайны девичьих сердец!

Так заключил я свои утренние размышления и вдруг почувствовал, что голоден. Даже зверски голоден. И обрадовался. Значит, настроение у меня хорошее. Можно сказать, отличное настроение. Это уж самая верная примета; нет настроения — нет аппетита. Вот вчера, например, целый день ни крошки во рту, и не хотелось. «Вставай, лентяй! — прикрикнул я на себя.— Вставай, одевайся и иди в чайхану!» Я встал, оделся, умылся и пошел в чайхану.

У одного из стариков, что вечно сидели тут, у входа в чайхану, пили чай, беседовали и между делом, торговали то яблоками, то персиками и виноградом, то сахарной курагой— смотря по сезону, я купил тяжелую гроздь подернутого сизоватой дымкой винограда и присел на свободный топчан. Люблю ранним летним утром посидеть в чайхане. Тихо, чисто, уютно и радостно. Даже не понять, откуда берется эта радость. Плещет в стремительном арыке вода, воркуют горлинки, звонко «бьет» свое извечное «пить-полоть, пить-полоть» перепел... Славно!

Чайханщик — дядюшка Рамазан, принес на цветастом подносе две кунжутные лепешки-кульчи, пиалку и чайник с зеленым чаем, поставил рядом со мной на топчан, справился о здоровье, настроении и с достоинством удалился к своим, надраенным до блеска, самоварам. Пять лет назад, когда только-только переступил порог института, таким же вот ранним утром я зашел в эту чайхану, и дядюшка Рамазан впервые подошел ко мне с подносом...



— Амак<sup>1</sup>, мне хватит одной лепёшки,— краснея от смущения, проговорил я, и дядюшка Рамазан впервые улыбнулся мне. Сел рядом, расспросил, из каких я мест, где буду учиться, а потом пояснил:

— Вы — наш гость, сынок, а по обычаю, гостю не подают одну лепешку. Кушайте на здоровье, сколько сможете — съедите. Хлеб мы не выбрасываем...

Помнится, было жарко, солнечно... В первый раз я был один в огромном городе — боязно и интересно, и одиноко... Вышел из чайханы, сполоснул у фонтанчика руки, поглядел на мальчишек, пускающих по арыку кораблики, смотрю, а по другой стороне улицы наш односельчанин идет. Ох, и обрадовался же я!.. Догнал, поздоровался — почти до полудня бродили мы с ним по городу и только тогда я вспомнил о своем чемоданчике! Ох! Меня будто молния поразила. Аттестат зрелости, паспорт, приписное свидетельство, деньги, справки, характеристики... Ох! Я так обрадовался встрече с односельчанином, что совершенно забыл о чемоданчике — он так и остался у фонтанчика. Что же теперь будет?

Еще с детства я знал множество ужасных историй о городских ворах и аферистах, и теперь, в горе и отчаянии, на каждого горожанина смотрел, как на разбойника, похитившего мой бесценный чемоданчик. Лишь много после я понял нехитрую истину: жулик, где бы он ни жил, в городе или деревне, не имеет ни рода, ни племени, он просто жулик, и все. И честных людей на свете во многие тысячи раз больше.

Вне себя от горя я, в довершение ко всему, заблудился и до фонтанчика добрался уже перед сумерками. Конечно, глупо было и надеяться — чемоданчика не было.. У меня руки опустились, теперь хоть в петлю головой... Седоусый шашлычник, что с самого утра орудовал блестящими шампурами в дальнем конце площадки, сейчас неторопливо собирал свои нехитрые принадлежности и искоса поглядывал на меня:

— Что случилось, дружок, потерял что-нибудь? — лукаво спросил он, и, едва взглянув на его лицо, я понял, что пропажа нашлась. Нарочито сурово прочитав мне нотацию, седоусый волшебник достал из-под паласа чемоданчик...

Опять меня на воспоминания потянуло, а спутницы моей что-то не видать: из чайханы вход в наше общежитие, как на ладони, пропустить ее я не мог. Расплатился я с дядюшкой Рамазаном и помчался в «четверку». Еще издали я увидел, что девушка из Халкасия сидит на той

---

<sup>1</sup> Амак — вежливое обращение к мужчине средних лет.

же самой скамейке, сосредоточенно углубившись в свою «Органическую химию», а на двери комендантской, как и вчера, висит здоровенный замок.

Я с облегчением перевел дух, постарался придать своему лицу слегка обиженное выражение (хотел бы я знать, как это выглядит со стороны!) и этакой независимой походкой направился к девушке. Она меня не замечала, мучительно продираясь сквозь дебри молекулярных связей, растворимых и нерастворимых осадков, кислот и окислов... Тугие косы витой рамой из черного тяжелого дерева обрамляли ее чистое и свежее, как осеннее яблоко, лицо, алые губы шевелились. Мальчишеский восторг рассветным холодком коснулся моего сердца: красивая девушка! До чего же хороши горянки; из Халкаса! Стройные, легкие, а лица — хоть с каждой картину пиши!

— Привет, обманщица!

— Здравствуйте! — тихо сказала девушка, откладывая в сторону книгу. — Почему это я обманщица?

— А я вас там, — махнул я рукой в сторону своего общежития, — жду, жду...

— Я и не обещала туда прийти...

Действительно, с какой стати она должна была туда идти? Чтобы доставить мне удовольствие — проводить ее два квартала? Кто я такой?

— Зря вы... вчера... Обо мне плохо подумали. Разве можно подозревать в чем-либо плохом такого симпатичного парня, как я! — с натугой пошутил я.

— Сами вы... подозрительны, — усмехнулась девушка. — Да к тому же еще и... хвастливы...

— Не-е-е, я и вправду хороший, — с напускной серьезностью сказал я. — Не зря же меня пять лет подряд профоргом избирали. Хорошо, что всего пять лет учиться пришлось, а то бы до самой пенсии за должниками бегал...

— Что вы этим хотите сказать? — нахмурилась девушка. А я и сам не знал, что хотел сказать, лишь бы еще раз увидеть, как скользнет по ярким губам улыбка, волнисто дрогнут косы!...

— Я хотел сказать, что человек я хороший, даже, в какой-то степени, государственный, — заторопился я и возликовал: улыбнулась!

— И поэтому я должна была спать на вашей кровати? — ехидно усмехнулась она.

— Ну-у... Сам бы я ушел к ребятам, это раз, а во-вторых, что вы могли сделать вверенному мне имуществу? Я уже пять лет на этой кровати сплю — и ничего. Цела.

Девушка, смешливо фыркнув, уткнулась в книгу, но тут же подняла голову:

— Что? И сегодня целый день на этой скамейке просидим?

Я всегда удивлялся способности девчонок несколькими словами передать целую бездну информации. Казалось бы, что особенного она сказала, а ведь в этих словах были и милое кокетство, и прощение за вчерашнюю обиду, и приглашение к разговору, и... надежда на будущее! — вот что самое главное. Надежда на бу-ду-щее! Она сказала: «Мы! », а мы — это значит: она и я!

Почти полтора часа мы ждали коменданта и одним мгновением пролетели эти полтора часа! Мы спохватились, когда он вновь вешал на дверь свой здоровенный замок. Я выхватил из кармана записку проректора и, торопливо развернув, прочитал фамилию девушки:

— Фамилию теперь знаю, а зовут-то вас как?

— Рухсора,— улыбнулась она.

— А меня — Вафодор.

Девушка не сдержала смешка. Ну вот, и она тоже. Всем, кому я ни представлюсь, почему-то смешно. А что тут смешного: Вафодор означает — верный. И все.

Но многие девушки почему-то не верят, думают — шучу. Одно время я представлялся кратко: Вафо! Отец, узнав, об этом, рассердился: «Не пристало человеку сокращать свое имя! Настоящему человеку!» — подчеркнул отец, и я послушался его совета. Мне всегда хотелось стать настоящим человеком.

Лишь к полудню Рухсора устроилась в общежитии. В основном здании шел ремонт, и комендант, почесывая заросший сивым волосом затылок, выделил ей и еще одной абитуриентке крохотную комнатку во флигеле, приткнувшемся в дальнем углу двора.

### 3. СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ...

Какой там обмен паспорта, где ты, «вольный деревенский воздух»?! Третий день с утра до вечера я дышу бензиновой гарью на автобусной остановке или с деловым видом фланирую у ворот

четвертого общежития. Даже обедаю тут же, в столовке напротив. И всякий раз, когда в воротах мелькает девичья фигурка, сердце мое стремительно ухает в пропасть: она! Но Рухсора не появляется, и я вновь, дурак-дураком, торчу на остановке или полирую асфальт вдоль ворот. Прийти к ней в гости просто так, без приглашения, я не осмеливаюсь... Чего я только не передумал за эти долгие дни и часы ожидания! То во всех подробностях представлял нашу «случайную» встречу, то ругал себя на чем свет стоит: «Ну, подумай своей непутевой головой — до тебя ли девушке? У нее сейчас все мысли экзаменами заняты. Если бы ты был ей хоть капельку нужен, могла бы, ради приличия, сказать: «Приходите, помогите...» Так ведь не было этого. Намекал же ей: «Может, что разъяснить потребуется?» Ну и что? Сделала вид, что не поняла намека. Промолчала. Эх ты, ухажер!..

И ничего с собой поделать не могу: третье утро подряд ноги сами к «четверке» несут. Вот уж точно, как пишут в современных романах: «дисгармония ума и сердца». А у девушки, может быть, давным-давно жених есть, может, она еще с колыбели с кем-нибудь обручена — она же из Халкасия, а там девушки по своей воле замуж не выходят. «Тьфу! — вновь одергиваю я сам; себя.— О каком замужестве речь? Мы и виделись всего-то два раза».

На третий вечер я не вытерпел — будь, что будет: не боги горшки лепят, а смелость города берет! Скажу, что шел мимо, случайно вспомнил, зашел на всякий случай проведать... Знала бы Рухсора, с каким страхом, стыдом и сердечным трепетом, с каким волнением, остерегаясь всех и всякого, я шел к ней!

По вечерам у нас летом в доме никто не сидит — при малейшей возможности на улицу выходят, стены дома все еще дневной жар хранят, а на улице свежо, прохладно... За эти дни девушек в общежитии стало много, и все они были тут как тут. Во дворе. Я шел, как николаевский солдат под шпигрутенами, и едва не спотыкался под их взглядами. Помоему, из всех девушек лишь одна Рухсора сидела в этот вечер в комнате. Увидев меня, она до того растерялась, что меня в пот бросило.

— Не ждали? — наконец вымученно улыбнулся я.

— Не... не знаю,— дрожащими пальцами Рухсора накинута на голову платок, прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Я не видел

в ее глазах ничего, кроме ужаса и растерянности. Нормальные герои всех современных повестей и романов в таких случаях говорили что-нибудь мужественное и гордо удалялись. Я не мог «гордо удалиться». Я знал, если уйду, то все рухнет. Рухну сам, рухнет и разлетится осколками мое сердце, душа, сама жизнь... Все еще дрожащим голосом я пробормотал несколько вопросов и, не услышав ответа, сник окончательно. Что делать? Кто говорил, что в подобных случаях надо шутить напропалую, и пусть хоть земля треснет, а ты шути! Ну помоги мне, аллах...

— Вы прибыли сверху,— я поднял палец к потолку: где-то там, по моим предположениям, находился Халкасай.— И, наверное, настолько близки к ангелам небесным, что земную пищу отвергаете? Или аппетита нет от страха перед экзаменами?

— Не отвергаем... Кто вам сказал? — робко улыбнулась Рухсора.

— Что-то я вас в столовой ни разу за эти дни не видел.

— Да-а... Я это... Здесь обедаю.

— Как арестантка — на хлебе и воде?— деланно ужаснулся я.— Или, как зимовщик на льдине,— на консервах?

— Не привыкла я еще к консервам... Из дома мясо жареное прислали...

— Ладно,— я решительно поправил воротник рубашки.— Идемте. Сегодня я вас накормлю обедом, а потом вы меня — жареным мясом.

— Нет уж, спасибо! Куда нам... по столовым ходить!

Зло так сказала, с иронией. А может, и незло, и не с иронией — поди, пойми. Я попробовал настоять на своем, но Рухсора тут же замкнулась в себе, и молчание морозным облаком окутало нас. Боюсь я такого молчания. Как омут оно — засосет и не выплывешь. Так и сгинешь в ледяной глубине. Шути, брат, шути напропалую!

— Консультация еще не требуется? — как можно веселее спросил я. — Пятилетний опыт подсказок за плечами имею!

— Вы уже закончили институт, заждались, небось, на работе-то? — ехидно прищурилась Рухсора, и я перевел дух. Вот оно что! Девушка жаждет понять, чего ради я здесь болтаюсь, почему не отбываю по месту назначения?

— А у меня теперь работа такая... Вас учить.

— Интересно, что у вас в дипломе написано: учитель или агроном?— вновь улыбнулась Рухсора. Хорошая какая улыбка у нее: добрая, ясная.

— Конечно, агроном. Но... Меня в институте работать оставили, Может, в вашей группе буду семинар вести,— я нарочито солидно покашлял в кулак.

— Не шутите? — с какой-то неизъяснимой тревогой и облегчением спросила Рухсора. Быстро спросила, очень быстро и требовательным взглядом повторила: «Не шутите?» Под таким взглядом не соврешь, не пошутишь.

— Не шучу.

— Значит... — Рухсора на мгновение задумалась и твердо повторила: — Значит, можете консультировать!— она повторила это так, словно поставила на какой-то, очень важной, бумаге печать. Хлоп! — и готово. Обжалованию не подлежит. А я и не хотел жаловаться. Мне хотелось быть той самой бумагой, на которую она поставила печать.

Так мы разговаривали еще с полчаса. Она — спиной к двери, я — в отдалении, у прохода. Договорились, что встретимся завтра.

— В котором часу?

— В... Сейчас... Днем не приходите... Может кто-нибудь из Халкася заглянуть... Лучше вечером. Вон, у бассейна, есть стол и стулья.

— Ладно,— сказал я.

С этим и ушел. Браво так. С достоинством прошествовал мимо шибко любознательных девчонок во дворе общежития — не до них. Рухсора заполнила мои мысли, и лишь одна-единственная колючка отравляла существование: она будет учиться в том самом институте, где мне предстоит работать. Как то обстоятельство скажется на наших отношениях? Пойдут сплетни, то да се — на чужой роток не накинешь платок. «Ладно,— подумал я.— Поработаю пару месяцев и уйду в какой-нибудь НИИ. Ради Рухсоры я готов головой колодец рыть. Она- то хоть это понимает?»

Заснул я в тот вечер не скоро.

— Ну как — накопились вопросы? — Рухсора прилежной ученицей расположилась за столиком у бассейна и даже не слышала, как я подошел.

— Очень химии боюсь,— доверительно сказала она, молчаливым кивком ответив на мое приветствие.— Я потому и в медицинский не

пошла. Ой, какой скандал был! — Рухсора с кокетливым ужасом покачала головой. — Как?! Девушка — агроном?! Иди в педагогический!

— Ну и.. ?

— Я сказала, что не хочу быть учительницей,— на моих глазах кокетливо-проказливая девчонка исчезла, в голосе Рухсоры прозвучал металл, и я посмотрел на нее с невольным уважением.

— Да. Гм... Так... Это... Накопились вопросы? — ничего лучшего я не мог из себя выдать.

— Ой, много! — в глазах Рухсоры мелькнула какая-то тень и тут же пропала. Досада на мою сухость?—Вот, например, эта глава: «Окисление железа»...

Давненько я не заглядывал в учебник химии, но память услужливо вернула вспять время, и я вспомнил даже запах той ночи, когда сам сидел и разбирался с главой «Железо. Его окислы и соединения». «Железная» была ночь, что и говорить, а наутро — зачет. Поначалу слегка запинаясь, а потом все увереннее, я объяснил Рухсоре тему и попросил решить задачу. Каверзная такая задачка, на экзаменах ее частенько задают... Где уж Рухсоре решить ее!

— Неправильно, — спокойно констатировал я. — Допустим, кетмень покрылся "ржавчиной, вы что же, водой ее отмывать будете?

— Не-е-ет,— зарделась Рухсора, пряча лицо в ладони.

— А по этому решению выходит, что вы водой окисел растворяете.

— Где?

Мы одновременно нагнулись над тетрадкой, прядь ее волос коснулась моей щеки и... Это был ожог... Сладкий и жгучий. Наверное, Рухсора почувствовала то же самое, потому что несколько минут мы сидели недвижно, не смея пошевелиться, лишь сердца стучали: тук-тук-тук! Я украдкой поглядел по сторонам, но лицо Рухсоры пламенело так жарко, что я ничего не увидел. Увидишь тут!

Мы разобрали еще несколько тем, а потом наш разговор незаметно отошел от «химического» русла. Рухсора непринужденно рассказывала о своем кишлаке, школе, учителях, родителях, я внимательно слушал и лишь одно мне едва заметно резало слух. Рухсора не то чтобы хвасталась, но по ее рассказу выходило, будто она сама или ее родители чуть ли не вершителю судеб земли. С мельчайшими подробностями Рухсора рассказала о том, как директор школы сватал ее за своего сына,

обещая выполнить любое ее пожелание, вплоть до того, что разрешат учиться в городе. Но отец отказал:

— Пусть доченька вначале закончит институт, а потом ее воля.

— Отец с самого начала хотел, чтобы я в институте училась,— сказала Рухсора, задумчиво глядя прямо перед собой.— Ты, говорит, будешь первой среди всех девушек кишлака. Так оно и случится! — твердо заключила Рухсора.

Отец ее начал свою карьеру сельским почтальоном, но, благодаря высоким личным качествам, быстро выдвинулся и стал начальником отделения связи. «Его даже в райцентр приглашали на работу, но отец отказался!» - гордо сказала Рухсора.

Она говорила, а я слушал и никак не мог поверить, что рядом со мной сидит такая красавица и, как цветисто выражались древние, «успокаивает наше сердце приятной беседой». Все было бы прекрасно, но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Сейчас этой ложкой был сторож. Вот, уже в который раз, он проходит мимо и деланно покашливает: «Смотрю я за вами, детки, смотрю. И не успокоюсь, пока вы здесь!»

Пришлось уйти. Каждому ясно, что под звездами о химии не разговаривают.

Вечером следующего дня мы занялись водой. Как я и ожидал, знания Рухсоры по этому вопросу не выходят за рамки школьной программы, а этого на приемных экзаменах в институт маловато. Она, конечно же, знала формулу воды, ее удельный вес, состояния... И только. Пришлось прочитать целую лекцию, заключив ее словами:

— Вода — самое драгоценное вещество на планете. Например, чтобы изготовить килограмм бумаги, требуется сто литров воды. И не какой-нибудь, а питьевой. Запасы же питьевой воды на Земле ограничены...

Видимо, угроза водяного голода так подействовала на Рухсору, что она тут же поспешила сменить тему разговора:

— Мой дядя приехал из Ферганы, вернее, из тех краев, и у него вот такой зуб на шее,— Рухсора сложила два кулака вместе, показывая, какой огромный зуб у ее дяди.— Врач сказал, что в тех местах вода такая...

— Видимо, снеговая вода — ледниковая. В такой воде почти нет йода. Поэтому для жителей высокогорных районов продают в магазинах



йодированную соль. 10 граммов на тонну,— блеснул я познаниями в этом вопросе.

— А у нас сегодня консультация была. Мировой преподаватель вел консультацию. Кандидат наук, доцент, член чего-то. там... О себе много рассказывал.

— Низенький и полный?

— Не-е. Не очень низенький. Средний.

Так. Вот и Исрофил-заде на сцене появился. Он о себе умеет рассказывать...

— А потом он спросил у нас, есть ли вопросы,— спешила поделиться своими новыми впечатлениями Рухсора. Какой-то парень попросил рассказать об использовании водорода. Доцент оглядел нас и спросил: «Ну, кто ответит?» Все молчат, а я решила: «Будь, что будет!» и руку подняла. Доцент кивнул головой, и я рассказала все, что знала про водород. Сказала, что его применяют при производстве аммиака, спирта, бензина, еще используют при очистке нефти... Доцент похвалил за правильный ответ и посоветовал не спешить на экзамене. Потом он открыл толстую тетрадь и прочитал нам, как надо правильно отвечать. Вот! — выдохлась Рухсора, а я представил себе самодовольное лицо доцента и чертыхнулся в душе.

— Вы знаете, когда я документы сдавала, испугалась даже,— доверительно сообщила Рухсора.

— Чего?

— Там один старичок преподаватель с виду, сказал другому: «Что-то многовато в этом году поступающих... А ведь еще не все заявления подали». Я так расстроилась, что чуть было документы назад не забрала.

— Не обращайтесь внимания,— сказал я.— Ваше дело — подготовиться как следует.

— У нас в кишлаке говорят, что на это отделение без знакомств не поступишь,— задумчиво сказала Рухсора.— Один наш парень поступил в прошлом году... В школе очень плохо учился. Он и из института через месяц ушел — бросил. Его отец «поступил», чтобы в армию не забрали. А парень сказал, что пойдет служить, и институт бросил. Отец у него состоятельный, со связями...

— Кто хорошо сдает экзамены, тот обязательно поступает, — отменил я всяческие подозрения от приемной комиссии родного института.— Не, но связям принимают, а по знаниям.

— А как же тот парень,— не унималась Рухсора.— Он в школе даже книг в руки не брал.

— Повезло, значит. Легкий билет доспался.

— На всех экзаменах повезло? — ехидно прищурилась Рухсора.

Что-то мне не нравился этот разговор. А тут еще сторож. Крутится рядом, как ворон, и все смотрит, смотрит. Я предложил Рухсоре пойти, прогуляться по проспекту, но она отказалась... Мы долго и молча сидели рядышком, едва-едва соприкасаясь рукавами, и вечер был пак хорош, что даже сторож, наконец, угомонился. Забрался на свою тахту у ворот и включил транзистор. Нежный девичий голос тосковал о любви, мы с Рухсорой смотрели друг другу в глаза... Но... Не будешь же так сидеть до утра? Пришлось уйти.

#### 4. ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ...

Всю свою сознательную жизнь мы сдаем экзамены. На зрелость, человечность, способность отстоять дело, которому служишь... Да мало ли какой экзамен может учинить судьба? И всегда я волнуюсь так, что теряю аппетит. Вот и сегодня. У Рухсоры начинается сессия, а я позавтракать не могу. Не лезет кусок в горло. Пошел в институт. Столпотворение вавилонское да и только. Шум, гам, суета. Как говорят, тьма народа и все разные. Абитуриенты, папы, мамы, братья, знакомые... Вход в институт по специальным пропускам и экзаменационным листам. Ребята знакомые «на дверях» стоят, но мне и в голову не пришло туда лезть. Подумают еще, что хлопотать пришел. За бедного родственника...

Не люблю я в эту пору к институту приближаться. Встречаешь знакового преподавателя, а он лицо отворачивает или с таким холодным видом здоровается, что до вечера настроение портится. Впрочем, я понимаю преподавателей. Попробуй, не отвернись, если на тебя сто человек умоляющими глазами смотрят, а остальные сто нороят за полу пиджака схватить и «словечко шепнуть». Головы за такие штучки отрывать надо.

У меня по поводу экзаменов собственное мнение есть. Не то, чтобы я их боюсь или готовиться лень... Готовиться не лень. Но все дело в том, что большая часть моих знакомых к экзамену готовится по формуле: две недели зубрежки, отбарабанил, как попугай, и все из головы вон.

Спроси у кого-нибудь в общежитии после экзамена: «Что вчера зубрил?» — никто не ответит. Вначале и я свято верил, что зубрежка нужна и полезна: в поле, мол, книгу с собой не возьмешь...

А побывал на практике... Академики с собой «в поле» справочники берут! Ветеринар без двух-трех книг на отгонные пастбища не едет... Значит, не зубрежка, а умение мыслить, умение справочным материалом пользоваться. Если хотите знать мое мнение, я бы за умело составленную шпаргалку «хорошо» ставил. Вон Даври... Она на крохотном листочке ухитрялась десять страниц текста из учебника вместить. Джафар на третьем курсе конвертиками от бритв пользовался. У него на этих конвертиках годовой цикл лекций влезал. На каждый билет — особый конвертик. Точит карандаш, а сам на конвертик косит. Попался, конечно,— полгода без стипендии куковал. Бедная Луджия, так та на коленках формулы писала — потом весь курс хохотал...

А если без шуток, то пришла пора перестраивать систему экзаменов. Пусть пользуются справочниками, конспектами, основное дело преподавателя — определить талант и умение мыслить. Умение мыслить, вот чему надо учить и чего требовать.

Рухсоры все еще не было, и я на несколько минут сбегал в ближайшую чайхану — пиалку чая выпить. Памятная чайхана — пять лет назад, перед вступительными экзаменами, я тут с ребятами спорил:

— Если не сдам экзамены в этот институт—от собственного имени отрекись! — утверждал я.

— Во, даёт! — кричали ребята.

— Ай, да молодец!

— Хлеб маленькими кусками жует, а слова вон какие большие произносит!

— А если не повезет?

Но я упрямо стоял на своем:

— Вели не поступлю, мое имя не Вафо. Отрекись от имени, данного отцам!

В своих знаниях я был уверен, а вот насчет везучести были сомнения. Но ведь жалко же имя терять — старался, что было сил. Зато какая гора с плеч свалилась, когда секретарь приемной комиссии, посмотрев на мой экзаменационный лист, сказал:

— Можете первого сентября на занятия приходите...

Рухсору я мог бы узнать среди тысяч и сразу нашел, хотя новое платье с огромными, как у тыквы цветами, модная — с косым пробором, прическа совершенно преобразили ее. Непривычно бледная и молчаливая, она смотрела на меня невидящими глазами и все время шевелила губами, словно урок твердила. Я попытался растормошить ее, рассказывая один случай за другим— в иное время у Рухсоры скулы бы от смеха заболели, а тут... Рухсора молчала, и я прикрыл свой словесный фонтан. Умолк, но кто мне мог запретить смотреть и любоваться?

Я всегда утверждал, что современные темпы жизни времени для созерцания не оставляют. Так оно и случилось.

— Наврузов? — знакомый голос окликнул меня, и я обернулся.

Кто, как не любимый учитель, может заметить ученика в таком содоме? Конечно же, это был Джура-заде, и я торопливо пожал вялую ладошку Рухсоры:

— Успеха! Буду ждать!..

Вы не знакомы с Учителем Джура-заде? Жаль. Вас, говорю, жаль, Есть учителя и... есть Учителя! Джура-заде — Учитель с большой буквы. Мы, студенты, боготворили его. У нас, в институте, преподавательский состав всегда от прочих отличался. Хватает и авторитетов, и светил, так сказать. Но смотришь на такого и думаешь, похожи вы, дорогой наставник, на величественную колонну... Если взять ее и отставить в сторону, то ни один край мира даже не шелохнется, а вот Джура-заде на своих плечах этот мир держит.

По собственному признанию уважаемого профессора, отличников и бездарей он распознает сразу, а вот «среднячков» долго, не запоминает. Три последних года профессор руководит моей, мягко говоря, незрелой научной работой, а началось все с небольшого доклада на заседании НСО. Сейчас-то я понимаю, что детский лепет это был, а не доклад, а тогда гордился. Ух, как гордился и обиделся смертельно, что никто не обратил внимания на такой гениальный доклад. Ругать не ругали, но и похвалить забыли. Ладно, думаю, нужна мне эта наука. Я и агрономом проживу. Только через неделю вызывает меня к себе уважаемый ваш Джура-заде, достает из кармана известную всему институту записную книжицу и начинает излагать свои мысли по до-

кладу. Разгромил, конечно, в пух и прах, но подчеркнул, что тема важная, и я должен, обязан продолжать исследования. С «божьей коровкой» очень перспективно может получиться...

Так, с благословения профессора, я стал заниматься наукой, а тема «Интегрированные методы защиты растений» стала темой моей дипломной работы. И не только дипломной... Что тут говорить, умеет старик из своих любимцев жилы вытягивать. Мне-то что — я парень деревенский, с детства привычный на любой работе спину до седьмого пота гнуть, а вот другим каково? Не дай вам бог в любимцах у Джуразаде числиться!

Ведь видел же, черт старый, с кем я стою и разговариваю. Джуразаде все видит, когда хочет, и никакими силами его не заставишь видеть то, чего он не хочет замечать, или делать то, что не по душе. Фанатик! Впрочем, я его люблю. Я и сам фанатик, когда дело до главного доходит. А вот выдержки мне не хватает. Видел ли я, чтобы профессор горячился? Нет. Всегда выдержан, спокоен, но... Какой огонь под его внешним спокойствием! Ах, какой огонь!

Хотел бы я знать, для чего он меня из толпы извлек? Чем это ему Рухсора не приглянулась? Но ведь не смажет. Наверняка о работе заговорит. Не новая, в общем-то, мысль об интегрированном методе защиты растений. Но все дело в том, как его использовать, какие группы насекомых применять в борьбе с вредителями. В своей дипломной работе я выделил две такие перспективные группы, теперь надо испытать на опытном поле. А потом — внедрять в практику. Тут вот что интересно: еще год назад я заметил, что на целинных и вновь осваиваемых землях полезных насекомых больше, чем на старых полях...

Джуразаде за руку вывел меня из толпы и доброжелательно поглядел поверх очков:

— Приказ о выходе на работу уже есть?

— Нет, муаллим<sup>2</sup> ... Сказали, когда вернусь из отпуска.

— Так, так,— покивал головой профессор.— Действительно. Отдыхайте, отдыхайте...

— Вы что-то хотели мне сказать?

— Да-да, конечно... А жарко сегодня, — профессор рассеянно поглядел на толпу абитуриентов и повлек меня прочь— Я, знаете, на днях подумал о вашей работе и вновь подивился...

---

<sup>2</sup> Муаллим — учитель.

Джура-заде через плечо посмотрел на здание института — цветастую толпу будущих студентов и шумных болельщиков уже скрыла густая зелень плакучих ив — и вдруг резко повернулся ко мне:

— Почему же все-таки на старых полях вредных насекомых, то есть — на наш взгляд — вредных, во много раз больше, чем полезных?

— Инсектициды... — пожал плечами я.

— Вздор! Вздор! — быстро сказал профессор. — Почему же вредные уцелели? Думать надо, думать! Не болтаться во время отпуска около института, а думать! И почему вы в городе? Некуда поехать — езжайте в Яван. Да!

Я молча смотрел на своего учителя. Ну что в нем привлекательного? Роста среднего, голова большая, а лицо узкое, волосы на макушке торчат реденьким пушком... Помню, как он впервые пришел к нам в аудиторию и сразу же поразил вопросами. Целых два часа расспрашивал нас о вещах, не имеющих никакого отношения к программе. У одной из девушек, помимо имени, фамилии и отчества, он спросил: «Как вы думаете, какого цвета у вас глаза?», еще у одной из студенток поинтересовался, знает ли она историю своего имени, рода своих предков, у Суфи долго и дотошно выпытывал, какие растения он знает, какие звери и птицы водятся в его краях?

Я до сих пор не могу понять системы его понятий о людях. Но мыслит он оригинально — свежо, остро, поразительно логично. Умение мыслить — вот что мне нравилось в нем. Высокая культура мышления.

За таким вот «содержательным» разговором мы до парка дошли. Здесь, в чайхане, профессор обожает отдыхать. Хотя, какой там отдых! Я еще ни разу не видел, чтобы он в эту чайхану один ходил — всегда кого-нибудь под руку ведет. Вот как меня сегодня.

Популярный человек — профессор Джура-заде. Чайханщик его у дверей встречает, кланяется, на лучшее место около водоема ведет. Лучшие друзья, да и только. Месяц назад эти «лучшие друзья» два часа до хрипоты спорили. И о чем бы вы думали? О повадках кекликов!

Во время чаепития учитель вновь вернулся к теме моей работы:

— Химические методы борьбы уже не оправдывают себя. Иной раз от них вреда больше, чем пользы. О последствиях нужно думать, о последствиях. Тем более, в наших условиях!

Вот упорный старик! В отпуске же я, в от-пуге-ке! Но он прав — узкие межгорные долины нельзя заливать инсектицидами, одни растения

сохраним, а все остальные — в природе все взаимосвязано — уничтожим. Имеем уже горький опыт. Тут думать надо. И почему, все-таки, вредных больше?

После чаепития Джура-заде распрощался со мной и пошел было к выходу: я смотрел ему вслед и думал о том, сколько экзаменов пришлось выдержать моему любимому учителю, чтобы стать таким, каков он есть? Профессор отошел на несколько шагов, остановился и, повернувшись ко мне, тихонько попросил:

— Вы... Не ходите больше в институт во время приемных экзаменов. Не надо. Эта девушка наверняка поступит и без вашего покровительства, — повернулся и пошел себе по дорожке, а я остался сидеть с раскрытым ртом.

А что мне еще делать было?

## 5. АРОМАТ ЦВЕТКА И ДЫМ СЕНА

После обеда я отправился в «четверку» — надо же узнать, как там Рухсора себя чувствует? Мы мельком виделись в день первого экзамена — Рухсора шла с подружкой и задержалась лишь на мгновение:

— Написала! Темы легкие были. Я выбрала самую легкую: «Образ женщины в «Шахнаме». Слова Чернышевского эпиграфом поставила. Ладно, потом!

И убежала. Сегодня им должны были сообщить оценки, и я с самого утра нервничал. Рухсора что-то делала перед открытым окном и, увидев меня, сразу же показала два пальца. Двойка? Сердце у меня упало, Рухсора не выдержала, засмеялась, и я мысленно пообещал: «Ох, и получишь ты у меня!»

Дни стояли безветренные, жаркие, и пот лил с меня градом. Рухсора встретила меня на пороге, и, полушутя, полусерьезно, пару раз взмахнула над моей головой мокрым полотенцем. Потом ловко разрешила дыню и уложила ароматные ломтики на тарелку:

— Угощайтесь!

— Ну, рассказывайте! — нетерпеливо попросил я, вгрызаясь в сочную дольку.

— Оказывается, у нас здесь все равны. И тот, кто воду носит, и тот, кто кувшины бьет! — Рухсора недовольно махнула рукой.

— Как так? — поперхнулся я.

— Э-э! У меня одна девчонка с черновика списала, а сами знаете, какие черновики бывают. А оценки одинаковые. Обeim «хорошо» поставили.

— Может быть, она умело списала, — улыбнулся я. — От себя что-нибудь добавила, стиль выправила. Преподаватель во время проверки не знает, чье сочинение проверяет. Для этой цели разработана специальная система закрытых индексов...

— Ха! — презрительно усмехнулась Рухсора. — Чхать они хотели на эту систему. Я своими глазами видела, как на обороте одного из сочинений точку поставили. Отметили, значит, кому и что ставить!

Не в первый раз Рухсора заводит подобные разговоры, и я всякий раз огорчаюсь. Авторитет института — это авторитет института. Как можно уважать свое учебное заведение, если будешь вести подобные разговоры? Кроме того, я не хочу, чтобы Рухсора с первых шагов своей самостоятельной жизни потеряла веру в справедливость. Эта вера — штука хрупкая, сломать легко, а вырастить почти невозможно.

— Сегодня вторая группа сдавала устный, и десять человек получили двойки, — обеспокоенно сообщила Рухсора. — Одна девушка тоже...

— Это естественно — на то и экзамены.

— У этой девушки опросили, каких она знает змей? А у парня: почему зайцу и медведю в гору бежать легче?

— Задние ноги длиннее, чем передние.

— А она не знала. И я не знаю диких зверей!

— Пойдемте в зоопарк, там я вам все покажу и расскажу, а потом еще и домой провожу. Могу даже билетик за свой счет взять.

— Ладно! — я даже удивился, до того легко Рухсора на эту прогулку согласилась. — Только не одна, а с подругой.

— Жара уже спала, самое время идти, — против подруги я не возражал.

— Пойду, посмотрю, дома ли она?

Рухсора ушла посмотреть, дома ли подруга, а я огляделся. Нет, верно, говорят, что на земле разумные существа делятся не на расы, а на два биологических вида -- мужчин и женщин. Я в своей комнате прожил



пять лет, а она, как была, так и осталась комнатой в общежитии. Пустоватой, неуютной, безликой. Рухсора жила здесь немногим более недели, а уже было видно, что это Дом. Светлый, чистый, уютный. И сразу же ощущалось, что это — девичья комната. По особой свежести, что ли? Не знаю. И еще здорово ощущалось, что живет здесь девушка из Халкаса. И не только по вышивке на полотенцах... Какой-то особо пуританский дух сквозил в этой чистоте...

— Комната открыта, а её нет,— рассеянно сказала Рухсора и остановилась на пороге. Она явно колебалась и, видимо, никак не могла решить: что же ей делать?

— Ничего страшного, пойдет в следующий раз,— наивно утешил я её. Трудно, что ли, догадаться, для чего Рухсоре понадобилась подружка?

— Да-а-а, пойдет,— улыбнулась Рухсора и тут же нахмурилась.— Не дай бог, кто-нибудь увидит, что мы с вами... гуляем... Отец шкуру спустит и соломой набьёт!

— Где он только в городе солому найдет?! — озабоченно сказал я, и Рухсора расхохоталась.

— Вам-то шуточки, а если увидит кто...

— А кто сказал, что нам обязательно под руку друг с другом идти? Можно и на расстоянии...

Рухсора задумалась. «И хочется, и колется, и мама не велит»,— весело подумал я и решился на отчаянное: взял её за руку. О, как покраснела Рухсора, о, как бешено застучало моё сердце! Вся моя смелость ушла на этот невинный жест и, когда Рухсора с укором взглянула на меня, я тут же отпустил её руку... Рухсора отвернулась, и косы её суматошно метнулись по спине. Несколько минут мы стояли молча, но, казалось, что я всё ещё держу её за руку и...

— Пойдём, а то поздновато будет,— хрипло сказал я, волнение жарко и сухо сжимало мне горло.

— Пойду, но с условием: по разным тротуарам,— весёлые чертёныта плясали в глубине её глаз. Отчаянно-весёлые чертёныта. И кокетливые.

— Ладно. Тысячу раз ладно! — рассмеялся я.

— И не вздумайте обижаться,— предупредила Рухсора.— У нас, в Халкасае, обычай такой. А то скажут, что не успела в город приехать, уже гуляет с каким-то чужим парнем.

— А со «своим парнем» можно? — съехидничал я. «Чужой парень» резанул мне слух.

— Э-э-э! Посмотрите на этого человека! В наших местах даже такие разговоры — грех. Большой грех! Хотя... — Рухсора раздумчиво наклонила голову, — некоторые встречаются тайно... Поговорить.

— Слава аллаху! — вздохнул я с деланным облегчением. — Значит, тайно нам можно встречаться? Обычай ваши позволяют?

— О боже! — краска бросилась в лицо Рухсоры, и она прижала ладони к пылающим щёкам. — Я же не это хотела сказать!

— А что у вас в кишлаке делают, если без девушки жить не можешь?

— Если девушка не возражает, посылают сватов, — улыбнулась Рухсора.

— Понял. Я так и сделаю, — сказал и вышел. Пусть переодевается и догоняет.

Я ждал её далеко за воротами и страшно удивился, когда она вышла ко мне во все там же простеньком, домашнем платице.

— Что случилось? — я даже растерялся от неожиданности.

— Не пойду я, — убито сказала Рухсора. — Извините... Вы уж один...

— Что значит — один? — рассердился я. Рухсора подняла на меня свои умоляющие глаза и... Жалость и нежность мигом смыли мою обиду, и я с трудам удержался, чтобы не погладить по голове эту застенчивую девчонку. — Вы уже почти студентка. Городской житель... а столько страха... Я же вас не в джунгли веду. Чего бояться? Самой, наверное, хочется?..

— Да боюсь же, — жалобно сказала Рухсора и отвернулась.

— Идите, переодевайтесь, — сказал я сурово. — Как же вы будете в институте учиться... такая... робкая? Идите!

— Ладно. Но если что случится, — шутливо пригрозила она мне, — вам отвечать!

— Отвечу, отвечу! — сварливо пробормотал я ей в спину. — Случаться только нечему...

По улице мы шагали на приличном расстоянии друг от друга. И в троллейбус садились с разных площадок. Как чужие. Два парня сразу же привязались к ней, пытаюсь разговорить. Рухсора — вот молодец! — с независимым видом отвернулась от парней и на остановках коротко

взглядывала на меня: «Выходим?» Я отрицательно качал головой. Вышли мы у колхозного рынка и по длинному спуску побрели вниз, к зоопарку.

Все еще на расстоянии. Я впереди, а она — сзади. Постояли на мосту, посмотрели, как сплетают свои струи Душанбинка и Лучоб, переглянулись, засмеялись и тем же порядком отправились дальше.

В зоопарке было малоллюдно — будний день. И те, в основном, приезжие... Не балуют душанбинцы свой зоопарк особым вниманием. Предпочитают «В мире животных» по телевизору смотреть. И детишки... На станцию юных техников — они, пожалуйста, а вот в зоопарк или кружок юннатов... Потому и всходы овоа от пшеницы не отличат, а кроме воробья да голубя других птиц не знают.

А я люблю наш зоопарк. Хоть и маленький, но тенистый, уютный. Вот павлин распустил свой радужный хвост и закричал таким неприятным голосом, что Рухсора даже оглянулась. Сказочный мир! Я с детства люблю зверей, и зоопарк мне никогда не наскучит. Брожу от клетки к клетке и словно встречаю давних друзей. Из сказок, книжек, встреч в горах. Ведь первого в своей жизни медведя я повстречал там, на тропе...

— Смотрите, Рухсора... Это медведица. Какой малыш забавный!

— Это и есть белый медведь? — удивленно взметнула брови Рухсора. — Так он и не белый вовсе!

— Конечно, не белый. Наш, местный. Хы-р-р-рс! — рыкнул я, подражая медведю. «Хырс» — по-таджикски — медведь.

— А на человека он нападает?

— Очень и очень редко. Чаще всего раненый... Хотя... Встречаются и агрессивные. Канадский гризли, например. Тот вообще гигант — до шестисот килограммов весом. Зимой они впадают в спячку...

— И где же спят? — заинтересовалась Рухсора.

— В пещерах, глубоких ямах под корнями упавших деревьев. Готовят себе постель из сухих веток и укладываются на всю зиму. Мне один чабан рассказывал, что собственными глазами видел, как медведь в свою берлогу хворост таскал...

Рухсора слушала меня, широко раскрыв глаза. Она, как и многие её сверстницы, и сверстники, льва и тигра хоть по картинке знают, а расспроси, какие животные в окрестных горах живут? Откуда им, бедненьким, знать, как поздней осенью гоняет медведица своего го-

довашого детеныша-пестуна по зарослям колючек, чтобы вычесал он свою шубку, залег в берлогу без свалывшихся комков шерсти, без грязи и налипших косточек алычи? Слышали бы они, как жалобно хнычет пестун и сердито ворчит на малыша опытная медведица!

Стайка скворцов ловко воровала овес в загоне у антилоп, и я подумал, что по ловкости скворец намного превосходит известного пройдоху — воробья.

— Что это за птицы, знаете? — спросил я Рухсору.

— У нас их частушками зовут, — чуть помедлив, ответила она.

— Общепринятое название — скворец. А пастушкам «и в ваших местах называют другой его подвид — майну.

Мы присели отдохнуть на скамейку около небольшого искусственного озера, и Рухсора хохотала от души, наблюдая за перебранкой двух молодых гусаков. Мальчишки бросали в воду крошки булки, гусаки наперебой бросались к особенно лакомому кусочку, вытягивая шеи, шипели друг на друга, а в это время кусок подбирал шустрый крякаш-селезень, и все повторялось вновь.

В глазах Рухсоры влажно и выпукло переливалось небо, лебеди, мальчишки, зелень деревьев, я откровенно любовался девушкой и... Я ведь уже говорил, что я — парень деревенский. Неотесанный. И мысли у меня такие же... Неотесанные. Сейчас в моих мыслях колом засело одно: есть ли у Рухсоры жених? Ведет она себя так, будто никого у неё нет. А там поди, знай, что на уме у этих... халкасайских... Может быть, она давным-давно просватана?

Лутфулло не постеснялся бы — спросил прямо, а я не могу. Не принято так в нашем кишлаке. А как принято? Не знаю. Твердо знаю одно: нравится она мне! Значит, я её... Люблю? А что такое любовь? У какого-то академика я вычитал железные, как гвоздодер, слова о любви: «Любовь — это экстремальный случай уважения и понимания». Вот так. Уважения и понимания. А для того, чтобы понимать человека, надо его знать. Знаю ли я Рухсору? Нет... Но ведь она мне нравится и, что бы я ни узнал про нее, она не перестанет мне нравиться! Значит... люблю? Ничего это не значит. И не дай бог, Рухсора о моих мыслях догадается. А зачем ей догадываться? Может быть, ей никогда и в голову не придут подобные мысли...

Да. Это был чудесный вечер. Первый наш вечер вместе. Мы поужинали в здешнем буфете самбусой и фруктовым соком, побродили

еще немножко по аллеям среди вольеров и лишь в сумерках покинули гостеприимный зоопарк. До общежития шли пешком. На перекрестках я брал Рухсору за руку, она краснела, но руки не отбирала, только замолкала ненадолго.

Но даже это молчание не разъединяло нас. Мы и пугались нечаянной близости, и жаждали её, и завидовали городским парням и девочкам, беспечно обнимавшимся прямо под фонарями...

А может, я все это выдумал и не было никакой близости?

Рухсора шагнула в железный провал ворот и исчезла. Милые вы мои ворота, окна, стены! В ушах еще звенел колокольчик: «До свиданья... Спасибо!»—и я готов был обнять и ворота, и окна, и стены... В своих ладонях я хранил тепло ее ладоней... Я посмотрел на свои руки. А глаза! Они, как два скворца, свили гнездо в моем сердце, и каким божественным было это гнездо!

Я шалел от собственных мыслей, полета мечты и колдовской тишины летней ночи. «Они встретились на исходе лета...» — напевал я мысленно.

Все дальнейшее осталось в памяти рваными кадрами нелепотуманной киноленты. Кадры мелькают мгновенно, останавливаются и продолжаются целые века — изломанно, смято, перевернуто...

Косматый человек, вернее, его качающийся силуэт. Пьяный?

Резко — косо и быстро набегающий свет фар...

Крик? Взвизг? Стон?

Удар, отбрасывающий меня в тишину и тьму...

Сон...

Я бреду к тротуару, ах, как медленно я бреду, бреду, бреду...

Зачем они кружатся? Зачем? Зачем? Погасите фонари!..

Скамейка, белесые пятна чужих лиц, милицейская фуражка...

Женский крик прорезал тьму, боль, белесые пятна лиц:

— Держите же его! Держите!.. Держите меня, держите... жите, жите...

Жить!

## 6. О ДЛИНЕ НОЧИ СПРОСИ У БОЛЬНОГО

...Окончательно пришел в себя уже в машине «скорой помощи». Я лежал на носилках, укрепленных довольно высоко — на уровне небольшого окошка, и свет уличных фонарей быстро и косо скользил вначале по ногам, потом по груди, неслышно касался лица и пропадал за головой. «В больницу везут, — подумал, я вяло. — Жив...» Я хорошо ощущал бинты на голове, туго примотанную к груди правую руку, а тела почему-то не чувствовал. Осторожно шевельнул ногами, спиной, попытался приподняться, но девушка в белой косынке — медсестра — мягко положила мне на плечо ладонь, и губы у неё шевельнулись:

— Лежите, лежите, вам нельзя вставать!

Голос медсестры, такой же мягкий и теплый, как ее ладонь, с трудом пробился ко мне сквозь немолчный звон в ушах, я скорее угадал слова, чем услышал их, но понемучу-то сразу же успокоился и словно бы утонул в мягком покачивании автомобиля, звоне и слабости.

Это странное ощущение безвольного покоя, пронизанного легким головокружением и настырным звоном в ушах, не оставляло меня все время, пока какие-то люди в белых халатах распорядились, даже не мной, а моим телом, перекладывая с носилок на коляску, потом на сверкающий металлический стол, опять на коляску... Они тихо переговаривались, но я их не слышал, все глубже и глубже погружаясь в блаженное, как невесомость, беспмятство сна...

Проснулся я уже утром следующего дня, в больничной палате, поразившей меня какой-то обнаженно белой пустотой. Безразлично-белой пустотой... По всему телу бродила боль, но не она беспокоила меня, а вот эта безразлично-белая пустота, поселившаяся вдруг во мне. Беспокойство переросло в злость, и до сих пор первые дни в больнице помнятся мне, как дни, наполненные безразлично-белой пустотой и раздражением. Раздражало все: бесконечная болтовня соседей по палате, холодные руки хирурга в перевязочной, участливые расспросы медсестры Инны — мне казалось, что она приходит в палату лишь для того, чтобы поболтать с моими соседями.

Я натягивал на голову одеяло и часами лежал не шевелясь, притворяясь, что сплю. Иногда я и впрямь засыпал, быстрые сны перевивались с тягучей дремотой, наполненной воспоминаниями, а все вместе навсегда осталось во мне пестрым клубком ощущений и мыслей, повисших в безразлично-белой пустоте.

Лет шесть или семь назад, когда я учился в девятом классе, помню, что был уже конец зимы — промозглой и сырой, мы с двоюродным братом отправились в горы за хворостом. Ишаки остались внизу, на пологой тропе, спускавшейся по склону, а мы долго карабкались вверх, собирая арчовые сучья, подгнившие пеньки и коряги. Солнце уже перевалило за полдень, когда я сложил хворост в кучу, перетянул арканом и, с трудом взвалив на плечи, начал спускаться к тропе. Кто бывал в горах, знает, как это не просто — спускаться вниз, по крутому склону, без тропы, с тяжёлым грузом на спине.

К полудню сильно потеплело, промерзшая земля оттаяла, ноги скользили по глине, и я даже не шел, а ехал, тормозя пятками, от одного куста дикого миндаля до другого, то и дело хватаясь свободной рукой за камни и ветви кустарника. Измотавшись вконец — до тропы оставалось метров сто пятьдесят-двести, я остановился передохнуть. Сбросил на крохотную площадку тяжёлую вязанку и присел на камень. Ни с чем не сравнить этот блаженный миг! В горах всегда трудно. Задыхаясь, бредешь вверх и видишь только склон горы у себя под ногами, спускаешься вниз — все тот же склон, только в другом ракурсе, а ноги дрожат от напряжения... И лишь в короткие минуты отдыха видишь горы — видишь простор, от которого в восторге замирает сердце. Сидеть бы так бесконечно долго, слушать, как гортанно перекликаются в вышине беркуты, смотреть на долину, голубые цепи хребтов, белые нити ручьев, рыжие отвесы скал... Но уже ложились на снег синеватые тени и ощутимо мерзла вспотевшая спина. «Горячий пот на спине — к добру, холодный — к болезни!» — вспомнил я слова деда и, перехватив двумя руками аркан, одним рывком попытался встать на ноги.

Вязанка, видать, слегка примёрзла, аркан тугой петлёй перехватил плечи, я не удержался на ногах, и все дальнейшее помнится мне, как... Колесо арбы! Я катился вниз, как большое, неуклюжее колесо арбы, и ничто уже не могло остановить моего движения вниз. Закон гор суров — сорвался, пытайся остановиться сразу же: лечь на живот, уцепиться за камень, корень, ветку — потом уже не остановишься, летишь, набирая скорость, сталкивая камни, снег — летишь вместе с лавиной.

Меня спас старый миндаль. Корявый, жилистый, седой от старости, он врос могучими корнями в камень и только вместе с этим камнем его можно было вырвать из склона горы.

Старое дерево спасло меня от верной гибели, а белобородый Насрулло-костоправ — от хромоты. Он долго ощупывал меня быстрыми и сухими, как тонкие коричневые палочки, пальцами, прислушиваясь к чему-то неуловимо далёкому, потом сказал, что у меня перелом, и мне придётся полежать. Усто наложил на ногу две дощечки, прибинтовал красной тряпицей, дал отцу пакетик с мумие и велел давать каждый день по крошке... Прошли годы, нога зажила, как и не было ничего, но до сих пор я должник перед тем старым миндальным деревом и белобородым усто Насрулло.

В палате нас четверо. Справа от меня две койки: на одной из них лежит бывший учитель, а ныне пенсионер — Джавад-заде, другую занимает мужчина средних лет по фамилии Окилов, на левой койке спит молодой парень со сломанной рукой — Хусейн. Хусейн появляется в палате только поздно вечером, все остальное время он проводит неизвестно где, и медсестры вечно разыскивают его. Вот и сейчас я слышу, как где-то в коридоре Инна опрашивает, не видел ли кто Хусейна.

— Небось, опять к девушкам на второй этаж отправился,— ворчит Джавад-заде, разворачивая газету.

— Этот парень, не вылечив руки, ломает себе ноги,— охотно подхватывает Окилов и мелко хихикает. Его хихиканье — недоброе и ехидное, действует на меня хуже скрежета ножа по стеклу.

— Эдак немудрено и шею сломать,— шелестит газетой учитель, и слова его тоже не нравятся мне.

Джавад-заде, хоть и получил пенсию, как он говорит, «по старости», стариком отнюдь не выглядит. Высокий, могучий, он каждое утро скоблит бритвой тугие щеки, оставляя лишь усы — такие же могучие, как и он сам. Через два дня на третий он бреет и голову, привычно ловко орудуя безопасной бритвой. За дни болезни учитель почему-то очень близко сошелся с Окиловым, как говорят у нас, «котел и чашка у них стали общими», хотя мне так и непонятно, что же их связывает. Утром и вечером они в столовую не ходят, едят, что приносят из дому.

—Ну-ка, ну-ка, что у нас там сегодня? — потирал руки Окилов.— Та-а-ак: суп гороховый, гуляш, самбуса, виноград...

— Плоховаты здесь завтрак и ужин, плоховаты, — подтверждал Джавад-заде.— Без домашнего не проживёшь.



Они усаживались на койки, ставили два стула и расстилали дастархан, неторопливо обсуждая достоинства того или иного блюда, а ко мне с подносом приходила Инна, повязывала полотенце и начинала кормить... Как маленького — с ложечки. Много есть я стеснялся, мне все время казалось, что Инне неприятно кормить меня, и съев две-три ложки, я отказывался. Но Инна не отступалась, она смотрела на меня умоляющими глазами и уговаривала:

— Еще ложечку, ну, пожалуйста, еще...

Попробуй, откажись, если на тебя смотрят такими глазами!

Инна — симпатичная молодая девушка, очень нравилась больным, ее хвалили на все лады, а я думал, что взгляд и брови у нее, как у Рухсору. Во всяком случае, мне казалось так.

О том, что я в больнице, никто из близких не знал. Если бы узнала Рухсору, может быть, и пришла. Сообщить ей? Написать письмо, опустить в почтовый ящик, завтра или послезавтра она получит... И что скажет? Получится так, будто я умоляю ее прийти. В своих размышлениях я забывал, что ни написать письмо, ни тем более опустить в почтовый ящик я не могу, а просить кого-либо никогда в жизни не посмею. Вот если она узнает от кого-нибудь другого! Но «другого» не было — однокурсники разъехались, домашним ни в коем случае писать нельзя — к чему волновать по пустякам?— да и кто из моих домашних может сообщить Рухсоре?! А все-таки: я исчез, что может подумать по этому поводу Рухсору? Нехорошо получается, надо бы сообщить... Жаль, что каникулы — общежитие на ремонте, хоть по телефону бы позвонил, — я вновь забывал о своей руке и неподвижности.

Пока я размышлял подобным образом, глотая остывшую кашу, Джавад-заде ухитрился обидеть Инну. Она, как всегда, уговаривала:

— Ещё ложечку, ну, пожалуйста, ещё...

— Не отказывайся,— степенно облизывая ложку, сказал Окилов.— Глотай, пока дают.

— Я в твои годы,— проворчал учитель,— за один присест плов на кило риса съедал, да сверху ещё и дыню «Джураканди» укладывал.

— Вы, муаллим, наверное, в год плова родились,— улыбнулась Инна.— Какая уж там... диета.

Слова девушки почему-то задели Джавад-заде. Он грозно встопорщил усы и нахмурился:

— Вы бы, красавиц, до моих лет сначала дожили, а уж потом... И не дай вам бог, такие дни, как я пережил, видеть!

— Ой! — смутилась Инна. — Не обижайтесь, я же пошутила!

Она посмотрела на меня, спрашивая взглядом: «Ну что плохого было в моих словах?» Я лишь неловко улыбнулся: Инна была права, но спорить с пожилым человеком...

— Я и не обижаюсь! — все еще сердился Джавад-заде. — Но молоденькой девушке не пристало попусту болтать. Два голода я пережил. Не дороговизна страшна — голод! И на деньги хлеба не купишь! А потом война... До сих пор пуля в плече сидит!

Я слушал слова старика и думал о том, что минувшая война оставила у нас такие следы, что и через сто лет не сотрутся. А с другой стороны... Во время войны люди от голода страдали, сейчас от сытости болеют. На первом курсе мы — трое студентов, снимали квартиру у одного старика. Стоило кому-нибудь из нас прихворнуть, как старик подходил и говорил: «Трубу нужно прочистить, трубу! Труба загрязнилась!» Чем бы мы ни болели, старик твердил: «Трубу прочисти!» Под «трубой» он имел в виду желудок и кишечник. Целые сутки больному не давали ни кусочка лепешки, и лишь на следующие сутки старик начинал поить горячими отварами трав. Поправлялись.

Сегодня Инна, тронув бинты на голове, сказала:

— Завтра на перевязку. Не волнуйтесь, это не больно, — соболезнующе оглядела меня и не удержалась: — Говорят, что вы пьяного из-под машины вытащили? Он ваш знакомый?

— Нет. Так... Прохожий.

— А почему вы не на каникулах?

— Я уже окончил институт. Теперь на работу.

— Да-а? — нарочито удивилась она. — Как интересно!

В глазах у девушки действительно вспыхнул огонек живого интереса, но она почему-то постаралась скрыть его и почти равнодушно спросила:

— И куда же вас распределили?

— Куда? — переспросил я в некоторой растерянности. — Здесь, в городе, оставили.

— Я тоже поступлю в институт, — взмахнула она густыми ресницами. — Еще год отработаю и поступлю.

— Вам легко будет учиться,— вежливо сказал я.— С такой практикой!

Вечером Джавад-заде и Окилов лакомились супом с репой. Терпко-кисловатый запах репы пропитал, кажется, всю комнату. Они и мне предложили, но я отказался. Натянул на голову одеяло и затих. Бедно мы жили в далекую пору моего раннего детства. Да и кто жил лучше в те послевоенные годы? Хлеба не хватало. Исхитрялись кто как мог. Скосив овес, на этом же поле сеяли репу. Всю зиму в золе нашего очага пекли репу. Хворали мы часто, теплой одежды не было, и нас, малышей, часто и до хрипа бил кашель. От кашля мать лечила нас все той же репой, запеченной в золе. Детство мое пропахло репой. Бедность и болезнь пахли репой. Меня трясло от ее запаха.

Пришла Инна, внимательно посмотрела мне в глаза и выскочила в коридор. Вернулась она со шприцем в руках...

— Что, опять никто не пришел навестить? — спросила она, растирая ваткой со спиртом место укола.— Или нет никого?

— Родные далеко. Друзья разъехались...

Мне до смерти хотелось сказать, что есть один человек, который... Но он не знает о моей болезни. Да и придет ли? Сколько мы знакомы? Две недели...

Инна хотела спросить еще что-то, но заметив пристальные взгляды моих соседей, вдруг покраснела и, прикусив губу, быстро вышла из палаты. Мы трое смотрели ей вслед.

— Весна ее жизни,— почему-то вздохнул Джавад-заде. — Красивая! В пору моей молодости таких красавиц мало было,— старый учитель вновь вздохнул, и могучие усы его печально поникли.— А сейчас по улице идешь и сердце замирает — одна другой красивее. Значит, жизнь у нас красивая стала.

— Э-э, дорогой учитель, красота женщины — фарфоровая тарелка,— витиевато начал Окилов.— Кому нужна красота пустой фарфоровой тарелки? Чтобы смотреть? Эти, — Окилов неожиданно зло кивнул в сторону коридора,— хороши, чтобы по бульвару гулять, в кино ходить. А жизнь — это не кино. Около котла с маникюром не походишь.

— Инна не из таких,— сурово возразил Джавад-заде.— Те, кто рук холодной водой ни разу в жизни не мыли, другие. Не меряйте всех одной меркой. Мало она за нами ухаживает?

— Э-э-э! Мне ли их не знать?! — постучал по груди кулаком Окилов, — Что, первый год на свете живу?

Окилов долго и злобно рассказывал, как сын его родственника, не послушав родителей, привел в дом «выше головы ученую» девушку, какой кошмар начался в доме, и с каким позором пришлось эту молодую жену изгнать из дома.

Джавад-заде, понурившись, сидел на стуле и нехотя доил свой грустный ус. Возражать Окилову ему, видимо, не хотелось, и он лишь слабо отмахивался от соседа широкой, как доска, ладонью. Я тоже молчал. Вот был бы на моем месте Лутфулло! Он бы, даже умирая, не смолчал. Ему хоть кол на голове теши—спуску никому не даст. Такой характер. Несправедливости не потерпит. В позапрошлом году сидим в аэропорту — самолет ожидаем. Вдруг двое мужчин — оба под изрядным хмельком, спускаются из ресторана. Узнали, что их самолет улетел, и ну дежурного смены костерить. Так, мол, и так, по радио не объявляете, а люди ждут! Пьяные — что им докажешь. Все молчат, не вмешиваются, а наш правдолюбец Лутфулло поднимается и говорит тем пьяным мужчинам, что он сидел здесь и собственными ушами слышал объявление о посадке на этот рейс. Мужчины мигом отцепились от дежурного и Лутфулло за грудки: «Ты кто такой? Тебе что — больше всех надо?!» Быть бы Лутфулло битым, если бы мы не подросли. И вы думаете, что он на этом успокоился? Ничего подобного. В милицию обратился... Короче говоря, наш самолет без нас улетел...

Я лежал на спине, слушал, как бубнит Окилов, и думал. Через неделю мне разрешат вставать. Понемножку, разумеется. Хирург до сих пор на перевязке хмурится и головой качает: «Повезло вам, молодой человек!» Хорошо, что Рухсора не видела, как меня стукнуло — вот бы перепугалась, бедняжка! Чем она сейчас занята? Наверное, напрасно я столько о ней думаю: кто знает, как она ко мне относится? Бывают же между людьми просто добрые отношения. Это же ничего не значит. Хотя... Может быть, я занял какой-то уголок ее сердца? Написать письмо? На письмо надежда слабая. Я хорошо знал, что за время каникул в канцелярии общежития скапливается целая гора писем, и, если Рухсора ниоткуда не ждет письма, зачем бы ей рыться в этой гуде? Дать телеграмму? Разве я смогу вместить все свои слова в телеграмму? Что делать? Как она сдала экзамены? Лишь бы прошла по конкурсу! А вдруг не прошла? Вернется в свой Халкасай? Она должна, обязана пройти! Она

обязательно прошла по конкурсу, и мы вместе завершим мою работу по биологической защите растений. Божья коровка станет нашим общим другом. И не только она. Наверняка существуют и другие полезные насекомые. На орошаемых землях их осталось совсем мало, но это не значит, что их нет. Я представил себе клеверные и хлопковые поля, на которые не попало ни одной капли инсектицида— поля, а вокруг сплошные пасеки! Десятки, сотни тонн меда получают, помимо всего прочего, люди с этих чистых, как горные луга, полей.

Инна заглянула в дверь нашей палаты. Собралась домой? В туфельках на высоком каблучке, она стала еще стройнее.

— Как дела?— девушка добро улыбнулась мне, и я смутился. То есть я, конечно же, обрадовался и ее доброй улыбке, и заботе, скрытой в словах, и... В душе я проклинал соседей: делать им больше нечего, что ли? Смотрят во все глаза!

— Спасибо, хорошо, — ответил я и, стараясь преодолеть смущение, спросил:

— Инна, а как вас по-настоящему зовут?

— Инобатхон ее зовут! — по привычке хихикнул Окилов.

Меня даже передернуло от его мерзкого хихиканья, но я постарался улыбнуться девушке:

— Какое красивое у вас имя! А почему вас все Инной называют? Если можно, я буду вас звать Инобат, хорошо?

— Дома меня так и зовут, а как только переступаю порог больницы, только и слышу: Инна, Инна... Время, наверное, сейчас такое: не только платья, но и имена укорачивают,— легко улыбнулась Инобат, но тут же смутилась: — Пойду я... Вам ничего не нужно? Если что надо, не стесняйтесь,—тихо проговорила она и отвернулась, теребя ворот нарядного платья.

— Благодарю вас, пока ничего не надо,— в свою очередь смутился я, а в душе полыхнуло жаром: «Попросить отыскать Рухсору?!» Провожая девушку взглядом, я твердо — почти твердо — решил завтра же поговорить с ней о Рухсоре.

Окилов дождался, когда затихнут в коридоре быстрые шаги Инобат и, бросив многозначительный взгляд на Джавад-заде, хитро подмигнул мне:

— А я-то думал, что ты тихоня! Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Я с деланным недоумением посмотрел на Окилова.

— Неужели не понял? — хихикнул он.— Втюрилась в тебя девка — я по глазам вижу, втюрилась. Ну и даешь! Вон Хусейн с утра до ночи за девчонками бегаёт, а хоть одна пришла, спросила, как самочувствие, что принести, то да се... Хорош... гусь!

— А что? — весело ухмыльнулся Джавад-заде.— Не бойся того, кто гремит, бойся того, кто молчит. Девушки молчаливых любят — молчаливый, значит, надёжный.

— Это она жалеет.... То есть... Служба у нее такая,— краска ударила мне в лицо.— Да ещё... Не навещает никто...

— А что тут плохого, если и втюрилась? — с невинным видом спросил Окилов.— Радуйся. Что тут терять? Открытый котел любая собака лизнуть норовит, а тут такой котел открывается! Райский!

— В холодном дымоходе и дым холодный!— сердито проворчал Джавад-заде, неодобрительно поглядывая на Окилова — усы у него встопорщились, и учитель вдруг стал похож на недовольного тигра.— Кто же такие слова молодому человеку говорит? Думать надо!

Мне до дрожи хотелось запустить в Окилова чем-нибудь потяжелее, но я сдержался и постарался говорить как можно спокойнее:

— Неверно вы рассуждаете. По-вашему выходит, если девушка кому-нибудь доброе слово смажет, это уже—«открытый котел»? А ведь доброта в самой природе женщины, ее сущности!

— Женское сердце — это сердце нежности! — поддержал меня учитель.— А кого женщина чаще всего опасается? Нас, мужчин! Кто, чаще всего, угнетает, обижает женщину? Мужчина!

— Не знаю, что вы хотите этим сказать,— надулся Окилов,— но мужчина есть мужчина, а женщина — это только-женщина и ничего более! Верно молодой человек говорит,— ехидно улыбнулся он,— сущность у нее такая...

Окилов неопределенно пошевелил пальцами, показывая, какая у женщины сущность, и жест этот, обычный в человеческом общении, вдруг приобрел у него смысл тайный и пакостный.

— А кто еще вчера требовал, чтобы вас женщина-профессор осмотрела? — рассердился я.— Как это понимать?

— На то ее и учили, чтобы она больных осматривала,— мелко пожевал губами Окилов.— И зарплату вон, какую высокую платят.

Ну что толку спорить с таким человеком? Как говорят у нас в кишлаке: «Железный гвоздь в камень не вобьешь!»

— Пришлось мне однажды такую женщину встретить, что всю душу перевернула,— грустно улыбнулся, глядя на нас, Джавад-заде.— А началось все с пустяка — место я ей свое в поезде уступил. У меня нижнее было, а ей, бедняжке, верхнее досталось...

— И что — сладилось дело?— показал желтые зубы Окилов.

— Верно, говорят в народе, что у кривого прямых дорог не бывает,— окончательно рассердился учитель.

— Вот я и говорю,— подхватил Окилов.— Прямота мужчины — одно, а кривизна женщины — другое. Если у женщины есть стыд и совесть, это еще куда ни шло, а если нет...

— Я ему про небеса, а он мне про золу в костре! — Джавад-заде грузно приподнялся и, посмотрев на Окилова, тяжело вздохнул.

— Что бы вы тут ни говорили, а в моих словах самая сердцевина истины. Все, что женщина имеет, она должна только одному мужчине дарить — мужу!—подвел итог спору Окилов и привычно хихикнул.— Одному мужу!

Я уже нащупывал левой рукой кружку, чтобы запустить в его сытое, как блин, лицо, но тут в палату влетел сияющий Хусейн:

— Выписывают!

## 7. ДНИ И РАЗГОВОРЫ

Верно, говорят, что подлинная цена здоровья только немощному известна. Сколько раз я слышал разговоры стариков о том, что здоровье — самое большое счастье в жизни, что беречь его надо смолоду. Слышал и пропускал мимо ушей — кому не известна нудная привычка стариков поучать. Теперь-то я знаю, что старики правы — за их плечами мудрость поколений. Но... Все дело в том, что постигает эту мудрость всяк сам по себе.

Дни тянулись медленно и серо, не дни, а тягучая череда процедур, сна, завтраков, обедов и ужинов, и, таких же тягучих, как эта череда, мыслей. И малейшее событие, разговор, даже слово, приобретали в темном мирке больничной палаты едва ли не глобальное значение.

Мне разрешили ходить! Произошло это утром, сразу после обхода врачей, и я не стал медлить. Кое-как накинул на плечи халат и отправился во двор. Двор, свобода тянули меня неудержимо. На лестнице я столкнулся с Инобат, она несла куда-то коробки с лекарствами и, видимо, торопилась, но, увидав меня, остановилась:

— Видела я вашу Рухсору!— лукаво улыбнулась Инобат.— И, знаете, очень интересно получилось: на автобусной остановке мне встретилась девушка, и я почему-то сразу подумала, что это Рухсора. Пока разыскала общежитие, узнала номер комнаты, нашла ее, стучу, открывается дверь: «Здравствуйте!», та самая девушка. Рухсора! Мы почти до полуночи болтали. Я даже ночевать там осталась...

— ???

— Очень хорошая девушка. Мне понравилась. Только знаете... Какая-то... В общем... Из Халкасия,— мягко улыбнулась Инобат.— Суровая...

Я хорошо понял, что имела в виду Инобат под определением: «Суровая» и улыбнулся в душе: «Мне-то как раз вот такая «суровая» и по душе». Я уж говорил вам, что я деревенский парень. У нас в горах легкомыслие и ветренность не в цене.

Инобат окликнули, и она поспешила в перевязочную, несколько холодно кивнув на прощание: видимо, ей не понравилась моя глупейшая!—рот до ушей, улыбка. А что я мог с собой поделать? Мне каждое слово о Рухсоре — знамение о событиях значительных и прекрасных!

Корпуса нашей старенькой городской больнички располагались в таком же старом, как и эти корпуса, парке, и я чуть ли не пел, когда, слегка пошатываясь от слабости, брел по его тенистым аллеям. Рухсора целиком занимала мои мысли, и все вокруг: аллеи, деревья, трели птиц, цветы — все это было Рухсора! В каждом лепестке я видел ее лицо, в каждом шорохе, звоне воды, трелях птиц я слышал ее голос...

Я присел на корточки около большой и довольно запущенной клумбы с цветами. Цветам было нелегко здесь, в тени старых деревьев, они изо всех своих слабых сил тянулись к солнцу, и меня, как необыкновенное открытие, поразила эта слабая и упрямая сила. Мне казалось, что я понимаю язык воды, шелеста листьев, медлительного гула пчел, я растворялся в их многоязыком говоре, как еще в детстве умел растворяться во всем, что окружало меня: камнях, траве, стволах



деревьев, ощущая себя камнем, ручьем, деревом, травой на альпийских полянах... Сливаясь с вечной красотой и тайной природы. Мне мазалось, что я давным-давно, в шуме и суете городской жизни, потерял способность вот так, полно и нерасторжимо, сливаться с окружающим миром, и вот, сейчас...

Небольшой пластмассовый мешочек с розоватыми крупинками азотного удобрения сиротливо стоял под скамейкой, я отыскал клочок газеты, отсыпал несколько щепоток и бережно спрятал пакетик в карман халата.

В палате пахло дыней. Окилов, вооружившись большим кухонным ножом, ловко нарезал длинные тонкие ломти, наискось, до самой корки, насекая их на влажно-сахаристые кубики.

— Что это у вас? — спросил он, облизывая губы. Пакетик в моих руках донельзя заинтересовал его — любопытство Окилова не имело границ, и меня всегда поражало, что при таком неумном любопытстве, он оставался глубоко невежественным человеком.

— Удобрение.

— В детстве я не раз слышал такую притчу,— Джавад-заде тыльной стороной ладони расправил усы, что означало: «Слушайте и внимайте!» и, солидно кашлянув, продолжил: — Мальчик спрашивает у арбакеша: «Дядя, что это у вас лежит на арбе?» «Навоз»,— ответил арбакеш. «Какой же это навоз? Это хворост!»— воскликнул мальчик. «Если ты такой умный, зачем спрашиваешь?» — усмехнулся арбакеш.

— А меня в школе учили, что спрашивать не грех! — сказал я.

Старики рассмеялись.

— Нет, кроме шуток, что это такое?— не отставал Окилов.

— Удобрение. Для цветов,— на подоконнике у нас стояло два горшка с чахлыми цикломенами. Я осторожно взрыхлил в горшках землю, растер в порошок крупинки удобрения и, смешав с водой, полил растения.

— Ну и широкая у вас душа! — не сдержал ехидной улыбки Окилов.

— Доброе дело! — поддержал меня Джавад-заде — Что, всю жизнь ломать, что ли? Третий горшок кто разбил? А? — учитель повернулся к Окилову.— Не вы ли?

— Жаль,— тихонько пробормотал я, аккуратно отщипывая засохшие черенки.

— Нашли о чем жалеть! — высокомерно произнес Окилов.— На страшном суде об этом горшке и не вспомнит никто.

— Растения, как люди, и чувствуют, и страдают,— пояснил я.— Они даже плакать умеют!

— Э-э-э, сказки это!

— Я совсем еще мальчишкой был... Надрали мы однажды по полной пазухе зеленого урюка, а мать пугала нас: «Проклянет вас урюковое дерево!» Выходит, мать правду говорила? — постарался скрыть в усах усмешку Джавад-заде.

— Беспокойство растений редко простым глазом заметишь,— уж что-что, а это-то я знал! — но приборы четко фиксируют и беспокойство, и угнетенное состояние растений. Они даже в музыке разбираются. Индийские ученые доказали, что они очень не любят современные джазовые мелодии...

— Ну, теперь я верю, что у травы душа есть! — воскликнул Джавад-заде. — Этот джаз любого с ума сведет! Как его молодежь переносит? А ты серьезно... Про музыку?

Я кивнул.

Окилов с растерянным недоумением вертел головой —он никак не мог понять, шутим мы или серьезно беседуем. Я давно подметил любопытную черточку в характере Окилова: он очень боялся попасть в неудобное положение. Как ни странно, довольно часто вот такие, взрослые, с большим житейским опытом, люди опасаются иметь собственное мнение. Лишь сильный и умный человек способен признаться в незнании или неумении.

— Это прописные истины. Растения — часть живой природы, где все взаимосвязано. Есть растение росянка— она насекомыми питается. Ловит на капельку клейкой массы, похожей на росу, мелких букашек и заглатывает...

— Каких только чудес нет на свете,— тихо качнул головой Джавад-заде.— Каждый день новое открытие. Есть ли предел могуществу человеческого ума? Ученики, которых я учил читать, сегодня с тайнами мироздания на «ты». Удивительно!

— А-а, оставьте! — Окилов почувствовал себя в родной стихии.— Ученики-ученики... Что, без вас ученик человеком бы не стал? Вы их

только читать и писать научили. Вес настоящего человека не чистописанием определяется.

— В каждом из них — частица души моей! — грустно и тихо воскликнул Джавад-заде. Дрожащей рукой он тронул поникшие усы и вышел в коридор.

— Напрасно вы так, — упрекнул я Окилова.

— А чем он гордится? — неожиданно яростно зашипел Окилов. — Мои ученики, мои ученики! Этот этим стал, тот — тем!.. А сам? Чего достиг? Чему можно у нищего научиться? Нищете?

— Вы не правы! — холодная злость бурлила во мне, но я решил не отступать. Лутфулло не простил бы мне отступления. — Каждый из нас всю жизнь несет в себе огонь, зажженный учителем. Отца и первого учителя не забывают никогда. Дети и ученики всегда идут дальше своих родителей и наставников, но, если не научить их ходить, говорить, читать, думать... Вон в Индии двух девочек нашли — волки их воспитали, так они никогда и не стали людьми. Учитель это... Иной раз выше отца с матерью, и единственная его гордость в жизни — ученики!

— И ты туда же, — махнул рукой Окилов. — Он за свою работу деньги получает.

— А у вас какая зарплата? — спросил я Окилова.

— Это зачем тебе знать? — насторожился он.

— Если не секрет? — настаивал я.

— Какой там секрет, — натянуто улыбнулся он. — В среднем — двести рублей в месяц.

— А учитель гораздо меньше получает. И работа у него без перекуров и выходных. И схалтурить он не имеет права — дело с детьми имеет, а не с кирпичами. Тут или уж всю душу отдай, или уходи. И никаких тебе премиальных!

— Я и не говорю, что это мужская работа, — хмыкнул Окилов. — Учительствовать — женское дело.

— Многие так рассуждают, а вот я думаю, что зачастую девушки без призвания в институт педагогический идут, и...

— Знаю я одного человека, — бесцеремонно прервал меня Окилов, — так он тоже учителем был. Прямо скажу, не жил, а бедствовал. Дом старый, детей много, кроме одного костюма, ничего из одежды не было. Недавно встретил его — от удивления чуть собственную тубетейку не проглотил. Гладкий, важный, манеры, как у министра,

костюм на нем заграничный, рубашка белоснежная: не хочешь, да поклонисься. Говорю ему:

— Как ваши дела, уважаемый учитель?

— Пусть ветер ваши слова унесет,— нахмурился он.— И не напоминайте мне больше про учительство!

Оказывается, оставил он работу в школе и стал инспектором в общепите. Столовые проверяет. Говорит: «Слава богу, теперь живем, как люди. Работа у меня такая, что каждый поблагодарить старается... Ну и я, в свою очередь, людям помогаю».

— Чего же тут хорошего?! — возмутился я.— Был человеком, стал жуликом!

— Плохо ты, брат, жизнь знаешь,— снисходительно выпятил губу Окилов.— Какое же тут жульничество? Ты поможешь человеку, он тебя отблагодарит — теперь все так живут.

— Я так не живу. И мои друзья...

— Молодые вы еще. Обломает жизнь — научитесь.

Я рассмеялся.

— Чего смеешься, неразумный? — подобрал губу Окилов.— Ты, я вижу, еще холостой. Вот будешь свататься — вспомнишь мои слова о том, бывшем, учителе... Сто раз вспомнишь! — Окилов собрал дынные корки на поднос и пошел к двери.— Пойду, разыщу соседа. А то он до вечера дуться будет...

\* \* \*

Вечером, у входа в наш корпус, я встретил дочь Джавад-заде. Она робко попросила позвать отца, и я охотно отправился выполнять ее просьбу.

Старый учитель дремал, укрыв бритую голову теплым одеялом. Любил подремать старик, сидит, сидит, листая какой-нибудь журнал, смотришь, а он уже всхрапывает. Я осторожно тронул его плечо:

— Ваша дочь пришла. Она во дворе ждет.

— Кто ждет? — учитель открыл глаза и сонно потянулся.

— Дочь ваша. Вредно вечером спать, голова болеть будет,— улыбнулся я старику.

— Бог с ней,— буркнул Джавад-заде, и не думая подниматься.— Не беспокойтесь.

— Сказать, чтобы...

— Сиди! — рассердился старик. — Чтоб ее...

Я пожал плечами и пошел к своей кровати. Спрятал вспыхнувшее лицо за газетой — строчки прыгали перед глазами. Никогда еще Джават-заде так со мной не разговаривал. В чем дело? Нехорошо в чужие дела вмешиваться, но ведь ждет же человек! Еще подумает, что я ее просьбу не выполнил... Я уже имел случаи убедиться, что Джавад-заде — старик капризный и своеобразный, но чтобы вот так обойтись с родной дочерью?!

Весело прищелкивая пальцами, пришел Окилов. Он всегда преображался в предчувствии угощения.

— Вставайте, друг мой, — сладко пропел он. — Доченька ваша пришла, ужин принесла!

Джавад-заде лишь махнул рукой.

— Не-е-ет, так дело не пойдет, — настаивал Окилов. — Поднимайтесь, нечего ломаться. Подумаешь, обидчивый какой!

— Не выйду, — упрямо повторил Джавад-заде. — Пусть уходит.

— Расстроится же, — несколько растерялся Окилов. Он несколько мгновений помолчал, а потом спросил примирительно: — Может быть, вы чего-нибудь вкусненького хотите? Я передам.

— Ничего. Пусть больше не приходит.

— Охо-хо, — вздохнул Окилов и пошел объясняться с дочкой приятеля. Вернулся он на удивление быстро, до ушей растягивая полные губы.

— Вот манты так манты! — Окилов с шумом втянул в себя воздух и зажмурился. — Прямо слюнки текут. Нечего себя мучить. Ну, некогда было ей, говорит, мясо хорошее — специально для вас! — только сегодня достала. Что подделаешь — жизнь! Вы же видели, как я на прошлой неделе свою жену костерил — до могилы запомнит! Семь поколений предков ее в могилах перевернутся от стыда! В девять вечера проклятущая заявила. Я все глаза проглядел, а она: «Сестра поздно с работы пришла. На кого детей оставлю?» Ну, я и выдал ей. На полную катушку. На другой день спозаранку заявила. Я передачу принял, а сам не вышел. И даже полсловечка не передал. Смотрю, под окном ходит и ревет. Так, думаю, тебе и надо. Будешь ценить мужа!

Приятели уселись ужинать, пригласили и меня, но сочные манты не лезли в горло. Я сказал, что мне нельзя острого и ушел из палаты.

Настроение испортилось окончательно. Перед глазами дрожащее лицо дочки Джавад-заде и заплаканная жена Окилова, понуро стоящая под окном палаты. О, женщины, женщины! Имя ваше — любовь, а судьба — терпение.

## 8. ПОРА ЛЮБВИ — ПОРА МУЧЕНИЙ

Говорят — любовь окрыляет. Не знаю, крыльев за спиной я не чувствовал, но с тех пор, как я познакомился с Рухсорой, сердце мое не знало ни минуты покоя. Было ощущение, что я живу на вокзале, вот-вот подойдет поезд и увезет меня в края волшебные. Я все время чего-то ждал. Примерно с таким же чувством смотришь увлекательный фильм: до смерти интересно, чем же все это кончится, и одновременно хочется, чтобы фильм продолжался бесконечно. Дикость какая-то. Нелепость. Но все было именно так.

Дни были похожи на сон, сны снились реальнее, чем самая реальная явь. Работал я ассистентом на кафедре Джура-заде, и профессор поглядывал на меня неодобрительно, хотя, как я считал, придраться ко мне он не мог — не за что. Целые дни я проводил в лаборатории или библиотеке, подбирая материалы по биологической защите растений, а выходные проводил на опытном участке...

Рухсора, занимавшая все мои мысли, чувствовала себя прекрасно. Она на удивление быстро освоилась с институтскими порядками и сейчас считалась не только успевающей студенткой, но и активисткой всевозможных кружков и обществ. А меня грызли сомнения: до конца ли искренни и серьезны наши отношения? Невозможно было понять, любит ли меня Рухсора, или сердце ее тянется к дружбе. Настала пора поговорить серьезно. До конца. До полной ясности.

Каждый день я решаю, что сегодня же обязательно, непременно поговорю с Рухсорой, и каждый день что-нибудь да мешает. Нельзя сказать, что мы редко видимся. Видимся-то мы каждый день, иной раз даже по несколько раз. Но что за свидания? Минутные встречи в коридоре или столовой? Полчаса — час прогулки по аллее институтского парка? Ну кто из влюбленных не мечтает провести с любимой девушкой вечер?.. Оранжево-золотистый диск луны трепетно колыхается в

длинных, как девичьи косы, ветвях вавилонской ивы, журчит фонтан, наша крохотная скамейка прячется в густой тени дерева, мы сидим рядышком, тесно прижавшись, друг к другу, и... Рухсора упорно отказывалась от такого свидания.

Между тем над нами собирались грозовые тучи. Халкасайцы и в городе друг за дружкой в сто глаз глядят. Кто-то из них, узнав о наших мимолетных встречах, поспешил сообщить родителям Рухсоры... Рассви-репевший отец девушки тут же явился к ректору института и выложил все, что думает по этому поводу. Ректор вызвал меня.

— Отец приезжал,— без предисловий начал он, справедливо полагая, что мне хорошо известно — чей отец может приехать в институт.— Трудная у нас была беседа. С таким человеком легко и просто не поговоришь,— Саме-заде вздохнул.— А что я мог сказать в твою защиту? Сказал, что парень ты хороший, надежный, что не дело родителей мешать любящим... А он знай одно... Прямо ультиматум передо мной поставил,— усмехнулся ректор и покачал головой.— Требовал, чтобы ты, продолжая работать в институте, купил в городе дом... Уважаемый, сказал я,— Саме-заде прервал себя на полуслове и резко повернулся ко мне.— Ты мне лишних хлопот не устраивай! Задумал жениться — женись. Но так, чтобы ко мне родственники с претензиями не являлись. Ты — работник института, а она студентка-первокурсница... Что могут люди подумать? Любишь, так бери ее в жены, а если что другое... Берегись!

Я опустил голову. Ректор постучал пальцами по столу, поглядел в окно, опять постучал пальцами по столешнице и лишь тогда соизволил посмотреть на меня. Покорность моя, видать, успокоила его, и он смягчился:

— Ты... Вот что,— мягко и доверительно сказал он — Мало ли в городе хороших девушек? Выбирай любую, приходи ко мне — я сам сватом буду. Свет клином, что ли, на этой халкасайке сошелся? Посмотри на себя — фигура, внешность, красивый парень, стоящий специалист, в самом лучшем институте республики работаешь, а из-за этой девчонки можешь судьбу свою погубить. Плохо, когда человек слишком заносится, но, оказывается, еще хуже, когда он себе цены не знает! — Саме-заде с досадой покачал головой и махнул рукой. — Иди! Подумай!

Так я и не понял ректора: действительно ли он думал так или его высокий пост таких слов требовал? Глупцом его не назовешь, Саме-заде

был не только прекрасным администратором, но и крупным ученым. Кто знает, может, ректор по-своему прав?

Рухсору он тоже вызывал, и нельзя сказать, чтобы эта беседа помогла нам. Впрочем, одно было несомненно: мы оба почувствовали, что пришло время решения, и каким бы оно ни было, нам друг без друга не жить. Удивительный человек Рухсора! Истинная женщина — никакой логики в поступках! После беседы с ректором она стала бешено ревновать меня ко всем женщинам без исключения. Стоило мне заговорить с кем-либо из представительниц прекрасного пола, как тут же являлась Рухсора и отзывала меня в сторону на предмет «важного разговора». Конечно же, ничего сверхъестественного не случилось — мне иногда казалось, что Рухсора знает мой день по минутам, — но Рухсора целых полчаса могла меня теревить каким-нибудь пустяком, дожидаясь, пока моей собеседнице это не надоест. Победно поглядев в сторону удалившейся «соперницы», Рухсора благосклонно разрешала мне «заняться настоящим делом». Ну что ты ей скажешь?

Однажды я спросил ее, почему родители против нашего союза и счастья.

— Не знаю, — тихо ответила Рухсора и пожала плечами. Видно было, что она действительно недоумевает.

— Ведь ты сама говорила, что они не противились поначалу? Дядя твой приходил со мной познакомиться, сестра...

Рухсора вновь пожала плечами.

Мне очень хотелось поцеловать ее — лицо у Рухсоры стало таким... Обиженно-детским и невероятно прелестным. У меня даже губы пересохла.

В начале сентября Рухсора с важным видом отозвала меня в сторону и торжественно объявила, что на днях приедут ее родственники — посмотреть на меня. Я едва сдержал нервный смешок: смотрины, значит, произойдут. Рухсора заметила мою кривую улыбку и нахмурилась. Отошла на несколько шагов, скептически оглядела меня, и...

— Выбрось ты эти галоши, — брезгливо сказала она, указывая на мои выцветшие вельветовые туфли. — Небось, всю свою зарплату на пустяки тратишь.



Во, дает девочка! Туфли ей мои не нравятся! Она, наверное, думает, что (ассистент кафедры многие тысячи получает. А я беднее церковной крысы, как пишут в старых романах.

— Они тебя не видели, но за вас стеной,— продолжала Рухсора.— Тут все в тесный клубок переплелось. Мне по секрету сказали, что отец какого-то своего друга сватом назвал. У того сын в Москве, в аспирантуре учится... Так что тебе обязательно надо моим родственникам понравиться. Дядя с отцом разговаривал уже, сказал, что парень ты очень хороший, талантливый, поэтому тебя и оставили на кафедре.

— А отец что?

— Отец, — Рухсора поморщилась, будто зеленый урюк разгрызла.— Он жаловаться стал. Никого у них, мол, кроме дочки нет, кто на старости лет кормить будет? Если за него — за тебя я то есть — замуж выйдет, он институт бросит, в свой кишлак уедет, а им — отцу и матери, значит,— негде будет голову приклонить.

Рухсора вновь пожала плечами и отвернулась.

«Ну, нет,— подумал я.— Разговор этот я до конца доведу. Слишком многое решается в моей жизни. Тут не до церемоний».

— А еще о чем говорили?

Рухсора умоляюще посмотрела на меня.

Я ответил ей суровым взглядом, и она сдалась. Ковыряя носком туфельки паркет, она неохотно призналась:

— А еще отец сказал, что человек ты одинокий, ни влиятельных родственников, ни собственного дома... Что не может он позволить любимой дочке жить под открытым небом.

— А еще?

— Э-э-э! — рассердилась Рухсора.— Много чего говорили, что я тебе — магнитофон? Я только твои слова все до единого помню, а остальные... Очень мне нужно их запоминать!

И убежала, быстро постукивая каблучками.

Вот и пойми — для чего она мне все это рассказала? Что-то с Рухсорой в последнее время непонятное творится. То мила и любезна, а то едва узнает при встрече. «Нет,— твердо решил я.— Нам обязательно поговорить надо. Иначе что это за жизнь? Каторга какая-то!»

Что там ни говори, а жизнь прекрасна и удивительна! И порой явь куда прекраснее любой мечты... Золотой поднос луны медленно катился по широким листьям столетних чинар, наша маленькая скамейка пряталась в их густой тени, где-то звенели струи маленького фонтанчика, а мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и разговаривали. Было уже довольно прохладно, я накинул свой пиджак на округлые плечи Рухсоры, но она не согласилась быть единоличницей, и мой старенький пиджак добросовестно грел нас обоих. Я убеждал Рухсору быть порешительнее и прямо сказать своим близким, что мы любим друг друга...

— С каким это лицом я скажу: «Выдайте меня замуж за такого-то». Ни одна халкасайка так никогда не говорила и не скажет! Это ваши, городские... Ни стыда, ни совести! Кому угодно, что угодно ляпнут.

— Давай тайно регистрируемся,— полушутя, полусерьезно предложил я и замер.

— Ой, выдумал! Лучше мне умереть... Не только родители и родственники, семь поколений предков нас проклянут! Слышать тебя не хочу!

— А что? Зарегистрируемся и уедем куда-нибудь в Сибирь... Или на Дальний Восток,—все более смелел я.

— Ага... Родители подумают, что я умерла, и оплакивать начнут!

— Через год-два приедем—простят!

— Ты знаешь что такое — родительское проклятие?!— скорбно и тихо спросила Рухсора.— Ни на том, ни на этом свете нам покоя не будет!

— И ты веришь в эту ерунду?

— Попробуй не поверить! Что я не знаю, какая кара постигла ослушников!

— Тогда уговори отца.

— Сам уговори, если умеешь...

Разговаривать с людьми, подобными ее отцу, я не умел. Тут способности Лутфулло нужны. Мы грустно улыбнулись друг другу и надолго замолчали, прислушиваясь к тишине. Где-то в дальнем углу парка тревожно и тоскливо вскрикнула совка-сплюшка: «Сплю! Сплю!» И все же... Виделся мне в грустной улыбке Рухсоры далекий свет надежды. Я твердо верил, что ничто не властно над нашей любовью, если Рухсора всегда будет сидеть вот так, рядом...

— Один парень из нашего кишлака в городе учился и привез в кишлак городскую девушку. Свадьбы, считай, и не было. Так, вечеринка. Соседям сказали, что в городе свадьбу справляли. А оказалось, что увез этот парень невесту без согласия родителей. Год вместе прожили, два, девочка родилась, а все же ушла она... Вот что значит проклятие родителей! Если мать проклянет, то еще ничего, юная жена матерью станет, своим молоком грех проклятья смоеет, а вот если отец, то тут уже ничего не поможет,— горько вздохнула Рухсора.

— Ну и мусор у тебя в голове,— укоризненно покачал я головой.— Чему только тебя в школе учили? Из тысяч влюбленных одна-две судьбы и без проклятия родителей рушатся. Вон Инобат, смотри, какая мужественная девушка...

— Что-то ты часто Инобат вспоминаешь?!

— Что тут плохого? Она хорошая девушка.

— Вот и иди к цей!

— Как тебе не стыдно, Рухсора! — обиделся я.

— Я же не говорю, чтобы ты на Манучехра равнялся,— скороговоркой буркнула Рухсора и кокетливо отвернулась.

Вот характер! Как погода весной—то снег, то солнце! И за словом, в карман не полезет.

— Ладно! — как можно солиднее сказал я. Рухсора затихла, прислушиваясь.— Ладно. Поговорю я с твоим отцом. Но... С одним условием: ты мне поможешь.

— Чем? — встрепенулась Рухсора, и трепет этот сказал мне больше любых слов: любит!

— Всею свой срок,— сказал я, лихорадочно придумывая способ убедить ее отца.— Займу у ребят десяток тысяч, хлопну пачкой о стол...

— Эх, ты! — поникла Рухсора.— Расскажи свой сон воде, говорят, помогает. Не нужен моему отцу калым. Был бы нужен — не отпустил бы в город учиться. Стоило ему или мне захотеть — с ног до головы деньгами бы усыпали. Были такие... С деньгами. А меня за деньги не купишь! — гордо вскинула голову Рухсора,— Не родился еще такой человек! Отец, хоть и не шибко передовой, добра мне желает. Счастья. Потому и колеблется: ты его тоже пойми — как незнакомому ненаглядную доченьку отдать?

— Ну и как быть? Самому пойти—неприлично. Отца своего послать, пусть скажет, что его сын — хороший парень?

— Тебе лишь бы языкам чесать!— сердито топнула Рухсора.— Пять лет человек в институте учился, а для любимой девушки ничего придумать не может!

Сухой листок чинары косо скользнул в воздухе и мягко лег на косы Рухсоры. Я протянул руку, чтобы убрать его... Дальнейшего я никак не ожидал. Рухсора, слоено гибкая расщипанная кошка, метнулась в сторону — ослепительно белые зубы сверкнули в темноте,— во, пантера! Багира!

— Это что еще такое?! Что за вольности?!

Я хохотал. Я просто захлебывался хохотом, глядя то на Рухсору, то на сухой листок, который все еще лежал у меня на ладони. Рухсора, широко открыв глаза, шумно дышала во тьме. А я хохотал все громче — почти до истерики, и она не выдержала, засмеялась тоже.

Наш смех победно летел по ночному осеннему парку, по темным кустам и деревьям, по пустынным аллеям и сухой листве.

Громкий, беспечный смех. Почти до слез.

## 9. ТАЙНА И СТРАСТИ

Не помню другого периода в своей жизни, когда бы мне приходилось столько работать, читать, думать и чувствовать. По-моему, человек взрослеет и мужает не с возрастом, а в тот момент, когда он вдруг начинает понимать, ощущать всю полноту и беспредельность окружающего мира и, словно Атлант, подставляет свои плечи под грузный свод работы, мыслей и чувств. Кажется, это называется чувством ответственности.

Я вел семинарские занятия. Раньше мне и в голову не приходило, что это так увлекательно, так тяжело и... сложно. Каждый день был для меня открытием. Самого себя, окружающих меня людей, открытием мира. Надо ли говорить, что я готовился к занятиям так, как раньше не готовился к самым серьезным экзаменам. Но зато как легко я чувствовал себя в аудитории, как вдохновлял искренний интерес, вспыхивающий в глазах моих — моих — студентов.

Оказывается, преподаватель сразу же отличает способного ученика от бездарного, трудолюбивого от лентяя, старательного зубрилу

от старающегося мыслить самостоятельно и оригинально. И ведь каждый из них — индивидуальность, и в каждом хватало и белого, и черного, и малинового в крапинку, и множество другого и всякого, и... С удивлением я обнаружил вдруг, что мои лекции быстро раскололи студентов на несколько довольно четко различимых групп. Одни пошли за мной сразу и безоговорочно, им было интересно и радостно открывать вслед за мной то, что я сам открывал для себя в пору студенчества, в долгие ночные часы размышлений над шипами, собственными наблюдениями и чувствами. Им было дьявольски интересно идти вперед и открывать. Другие понимали, что мои лекции нужны, и воспринимали их, как восприняли бы любую другую лекцию: «задали — учи!», и они учили, третьи откровенно обижались, жалуясь на мою излишнюю требовательность: с какой стати они должны учить то, что едва разыщешь в монографиях? Для чего тогда учебники?

С таким же точно удивлением я обнаружил, что мои занятия далеко не безразличны не только студентам, но и преподавателям. Оказывается, кто-то из студентов пожаловался в деканат на мою «придирчивость». Исрофил-заде «дружески» посоветовал не превращать институт в академию и более терпимо относиться к студентам, требуя знаний лишь в рамках утвержденной программы; на одном из собраний преподавательского состава Наими выступил с большой речью о том, что пора пересмотреть устаревшие программы — сама жизнь зовет нас вперед, и при этом многозначительно кивал в мою сторону; Обиди яростно защищал фундаментальность знаний, предостерегая — со ссылками на историю науки — от поспешных выводов и течений...

В деканат я зашел случайно—сейчас уже не помню, зачем. Декан разговаривал с Обиди и Салоховым:

— ... не понимаю, с какой это стати, на мою лекцию? — громко возмущался Обиди.— Почему именно меня необходимо проверять? Два месяца назад все мы прошли конкурс...

— Не думаю, чтобы это было специально,— примирительно сказал Наими.— Знакомятся с постановкой преподавательской работы, а сейчас как раз ваша лекция, — декана, видимо, задели слова Обиди — «все мы прошли конкурс», он, хмыкнув, заглянул в листок с расписанием лекций и пробормотал, вроде бы ни к кому специально не обращаясь:

— А ведь вы, кажется, болели, когда проходил конкурс? По-моему, это во второй раз?

— А почему бы им не пойти на лекцию вот этого молодого человека? — вдруг обратил на меня внимание Салохов.

— Он же всего лишь ассистент,— пожал плечами Наими.— Что скажет ректор? Приглашать таких солидных людей на лекцию молодого ассистента,— Наими вновь пожал плечами.

— А что? Недурная мысль,— встрепенулся Обиди.— Молодежь нужно воспитывать. Пусть послушают, подскажут...

— Наврузов, у вас уже были сегодня занятия? — декан пожевал губами и выжидательно поглядел на меня.

— Уже провел,— ответил я коротко.

— Я плохо себя чувствую, пусть проведет за меня,— страдальчески сморщился Обиди.

Декан вновь пожевал губами, обдумывая слова Обиди, потом в глазах у него что-то мелькнуло, и он кивнул головой.

— Хорошо. Пусть проводит. Учтите —нас проверяет серьезная академическая комиссия. Это высокая честь и... Экзамен на зрелость,— декан ободряюще улыбнулся.— Желаю удачи!

— Кроме пользы ничего не будет,— больно развалился в кресле Обиди, закуривая сигарету.— Мне, например, всегда помогали советы старших товарищей.

«Говори, говори,— подумал я, сжав зубы.— Я хорошо помню, как однажды в аудиторию, где ты читал лекцию,— какое там «читал», бубнил по тетради — зашли члены комиссии. Помню, как ты торопливо прятал в портфель тетрадь, как по-петушиному взлетел на кафедру и стал пространно объяснять значение зимних поливов. Всем нам эта тема — тема твоей кандидатской — была известна чуть ли не наизусть. До тошноты «Советы старших товарищей» ему, видите ли, всегда помогали!»

Что тут скрывать, волновался я так, что до сих пор дрожь пробирает. Когда Джура-заде вместе с гостем вошли в аудиторию, спазма сжала мне горло, и минуты три я вообще молчал. Выручил Джура-заде. Он мельком глянул на меня и... с грохотом уронил свой портфель, как всегда, до отказа набитый книгами... Дай мне бог, хоть когда-нибудь стать таким же мудрым и неловким!

В деканате, после занятия, гость улыбочиво расспросил меня о здоровье, настроении — ничего особенного, обычная вежливость незнакомого человека; необычной была его короткая реплика:

— Хорошим преподавателем будете. Пора вас к научной работе привлекать,— гость записал мою фамилию в изящный блокнотик и добавил: — Если хотите, поступайте к нам в аспирантуру.

«Господи,— подумал я в совершенной растерянности.— Хоть бы Джура-заде еще раз уронил свой портфель!» Даже поблагодарить не сумел. Пробормотал что-то нечленораздельное, заливаясь краской, и удрал из деканата.

Через несколько дней Джура-заде решил, что пора меня спустить с высот на грешную землю:

— Да-а,— сказал он.— Восходящая звезда... Аспирантура... Эт-то хорошо. Эт-то подарок. Подарочек. Не будет вам подарка. Со стыда можно было сгореть, слушая ваше мычание на лекции. Вы когда-нибудь слышали...

Дальнейшее можно не приводить. Уж кто-кто, а Джура-заде умел возвращать на грешную землю. Из самых заоблачных высот. Я даже и не слышал о тех аспектах проблемы, которые мне следовало, если не раскрыть, то хотя бы упомянуть на той злополучной лекции. Вручив мне длинный список рекомендуемой литературы — почти половина на английском! — Джура-заде величаво удалился. Зевс! Громовержец. Ну когда мне это читать? Когда? Я и так спал не более пяти-шести часов в сутки.

Впрочем Джура-ака был, как всегда прав. Пора было возвращаться на грешную землю. У меня как раз назрел конфликт со старостой группы. Активист, душа коллектива, энергичный парень, один из тех, кто неизменно участвует и организует все институтские мероприятия, староста мне нравился своей, бьющей через край, энергией. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что он не только не знает темы прошлого занятия, но и вообще «плавает» по предмету!

Мог ли я думать, что «неуд», поставленный старосте, вызовет такие страсти среди нашей преподавательской общественности. Первый дальний раскат грома я мог бы услышать в нарочито-мягком предупреждении Исрофил-заде:

— Авторитет старосты не следует подрывать. Уж больно вы ...не гибкий.

А меня отец гибкости не учил. «Прямая борозда добрый хлеб дарит,— говорил он.— Кривой правды не бывает».

Если и есть в мире действительно неунывающий человек, так это Манучехр — мой друг и однокурсник. Вот кому я иной раз завидую! Для него не существует проблем — их он решает так, словно орешки щелкает: сверкнет белыми зубами, улыбается, щелк! — и готово. Вот оно — ядрышко. Меня всегда поражало и восхищало это его умение. А Манучехр, знай себе, хохочет. Да так заразительно!

Далеко не каждый человек умеет смеяться от души. Один просто кривит губы, второй улыбается, а глаза холодные, третий просто-напросто боится смеха... Манучехр смеется так, что улетают прочь любые заботы. Вот так же, по-детски беспечно, иной раз хохочет Джуразаде.

Я как-то рассказал ему, что в детстве любил наблюдать за муравьями, и однажды мне в голову пришла совершенно гениальная мысль: муравьи терпеть не могут, когда в муравейник проникают посторонние насекомые, а у нашего щенка столько блох, что он даже бегать не может — все время чешется. Дай, думаю, зарюю щенка по шею в муравейник. Муравьи съедят всех блох и облегчат страдания бедняжки. Сказано — сделано. Я сунул щенка в муравейник, засыпал его по шею и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Щенок вдруг взвыл дурным голосом, косматой кометой взлетел над муравейником и с такой скоростью метнулся вниз, что у меня в глазах зарябило. Вернулся домой он только на следующий день.

Джуразаде смеялся так, что я забеспокоился — как бы не задохнулся.

Манучехр еще летом, получив диплом, уехал в дальний областной город, но сейчас был в Душанбе — решил заочно учиться в аспирантуре. К нему-то я и отправился. Тоска обручем сжимала сердце — уж больно все неопределенно, зыбко, тревожно... Да и куда пойти вечером молодому холостяку. Ресторан не для меня, кино не прельщало, чайхана? Попробуй, найди сейчас в городе чайхану, где, как в былые годы, можно было бы допоздна посидеть с друзьями, поболтать, попивая чаек?! Маленькие, уютные чайханы, что раньше были в каждом квартале, позакрывали, остальные модернизировали так, что не поймешь — ресторан это или чайхана. Да и цены там стали непомерные.

Когда при мне заходит разговор о чайхане, я невольно вспоминаю старого музыканта Самими. Старик без чайханы жить не мог и в любой



разговор вставлял слово «чайхана». «Вчера, когда я вышел из чайханы...», «Сидел я в чайхане и думал...», «А у нас, в чайхане...». Однажды на худсовете Союза, композиторов обсуждалась опера молодого композитора. Самими вышел на трибуну, откашлялся и начал так: — «Я тебе еще два месяца назад, в чайхане...» От смеха все полегли...

На мое счастье Манучехр был дома, когда я, окончательно затосковав, отправился к его дальним родственникам, которые души в моем друге не чаяли и предоставили целую комнату в его распоряжение. Манучехр крутился перед зеркалом. Ну что за человек! Хоть земля тресни, а он из дому не выйдет, пока галстук не завяжет и в зеркало не заглянет.

— Прошу тебя, о милый друг, прошу, скорей входи!— пропел Манучехр, раскрывая объятия. Мы обнялись.

— Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросил Манучехр, наклоняясь, ко мне. Тон у него серьезный, а в глазах чертики так и скачут.

— Да так. Что-то не по себе...

— Суду все ясно,— торжественно произнес Манучехр — Одна, не будем называть ее имя, луноликая красавица смутила покой моего друга Вафо, и он, пав в бездну отчаяния... Итак — вывод: будем гулять, приятно беседовать и топить свое горе в чаше с вином. Как бессмертный Хайям. На танцы все равно не пойдешь — танцевать ты так и не научился, на ресторан и чашу с вином денег у нас с тобой нет... Значит, да здравствует парковая веранда и две бутылки пива!

И мы отправились в парк.

Манучехр весело болтал, я краем уха слушал его и думал: «А ведь «легкомысленный» Манучехр далеко не так легкомыслен, как многие думают. И в город он приехал не только из-за аспирантуры... Еще в больнице я познакомил его с Инобат, и Рухсора недавно говорила, что... Кажется, это серьезно...»

— Ты со мной гуляешь или со своими мыслями? — толкнул меня плечом Манучехр.— Я его, понимаете ли, развлекаю, а он надул щеки и молчит.

— Говорят, ты остался без научного руководителя?— сказал я и тут же выругал себя в душе за неуместный вопрос.

Но Манучехр даже не почесался:

— Ха! Была бы голова, а тубетейка найдется. У меня сейчас другие дела.

— Это что у тебя за дела? — сердито спросил я.

— В кружок самодеятельности хожу. На отделение изящных искусств!

— Господи! Это-то тебе зачем? Ходил бы уж лучше в какой-нибудь научный кружок!

— Пять лет учился — пора и отдохнуть! — беспечно ухмыльнулся Манучехр — Пусть наукой такие, как ты, занимаются. Ты случайно не видел — в институтском фойе место расчищают.

— Нет, — ответил я неосторожно. — А зачем?

— Бюст твой будут там устанавливать. В обнимку с божьей коровкой!

— Ну знаешь... Всяким шуткам есть предел! — разозлился я.

— Не сердись, — тихонько попросил Манучехр. — Это я... От растерянности. Инобат в кружок самодеятельности ходит...

Мы надолго замолчали, и грустным было наше молчание.

Вообще, этот вечер так и остался в моей памяти, как вечер, окутанный легкой пеленой грусти. Мы словно бы прощались с чем-то. С юностью? Беспечным смехом? Друг с другом?

Я рассказал Манучехру о разговоре с Рухсорой:

— Не вижу иного выхода — надо разговаривать с ее отцом. А как с ним поговоришь?

— Здесь, в городе, ты ничего не сделаешь! — загорелся мой друг. — Надо ехать в Халкасай!

— Ну и что? — уныло сказал я. — Приедем и в ноги повалимся: отдайте дочь, жить без нее не могу?!

— Увидав воду — снимай сапоги! — отмел мои возражения Манучехр. — Завтра же едем в Халкасай, а там видно будет.

— Может быть... Рухсоре сказать?

— Ни в коем случае! — с железной решимостью воскликнул Манучехр. — Она все дело испортит. Да и что она сказать может? Жених приехал?

— Может... Кого-нибудь постарше с собой взять?

— Мы не свататься едем, а на разведку. Разведка боем, так сказать. Не трусь! Такие добрые молодцы, как мы, любое дело провернуть могут. А уж девчонку украсть — нет проблемы.

— Храбрый ты больно. То-то я смотрю, как ты Инобат крадешь!

—Здесь другое. Здесь мой характер проклятый — легкомысленный ты человек, говорит, язык у тебя без привязи.

Мы вздохнули. Я же говорил вам, что грустный вечер у нас вышел.

## 10. ВЫСОК ПОРОГ ДОМА ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

«Без дыханья любви даже факел не станет гореть»,— четыре года тому назад я записал этот афоризм в дневник и долго гордился собственной мудростью. На днях дневник вновь попался мне на глаза, я перелистал тетрадь и грустно улыбнулся: какая наивность! Как говорит у нас в кишлаке: «Еще никому не удавалось сшить себе халат из самомнения». И вы думаете, что за прошедшие четыре года я исправился? Ничуть. Еще недавно я улыбался в душе, слушая слова ректора о наших отношениях с Рухсорой. Не прошло и месяца, как я убедился в правоте многих его слов и совершенно не уверен, что в ближайшем будущем не сбудутся другие его предсказания.

Моя любовь к Рухсоре стала достоянием общественности. Пошли суды-пересуды, сбывалось парное предсказание ректора: никого не удивит и не затронет любовь студента и студентки, любовь преподавателя к учительнице, но любовь преподавателя к студентке шокирует многих. «Тут, знаете ли, есть особые нюансы»,— сказал ректор и я, глупец, не поверил ему. А, между тем, тучи над нашими головами стали сгущаться весьма стремительно. Многие преподаватели стали очень прохладно относиться и ко мне, и к Рухсоре—меня это задевало мало, но очень беспокоило настроение Рухсоры: она мрачнела с каждым днем. Я не знал, что делать. Неприязнь к обидчикам могла перерасти у Рухсоры в нелюбовь к институту, а ведь самые счастливые годы жизни — это студенческие годы! Кроме того, нельзя же из-за обиды на преподавателя, терять веру во все человечество, в высокие идеалы и светлое будущее.

Впрочем, и сам я чувствовал себя не лучшим образом. Внешне виду не показывал, но на душе горько. Поездка в Халкасай добра не принесла. Осторожные расспросы Манучехра о родственниках Рухсоры привели к тому, что мы оказались во дворе ее дяди, где нас встретили

отнодь не как дорогих гостей. Язык не поворачивается рассказать о тех оскорблениях, угрозах, которые обрушились на наши бедные головы. Прямо скажу: еле ноги унесли. Садами и огородами, провожаемые свистом и улюлюканием мальчишек, ушли мы из Халкаса — на автобусную остановку, расположенную в центре кишлака, мы не решились даже и показаться. Халкасайцы — люди решительные, и кулаки у них крепкие, а незваных гостей они, судя по всему, не очень любят.

Я брел, не разбирая дороги, от обиды и возмущения было темно в глазах, и лишь одно было на уме: что делать? Манучехр шагал рядом и ругался. Позже он говорил, что ругань всегда успокаивает его. Не знаю, может, это и так, но мне этот метод успокоения не очень подходит. Хотя... В тот момент ругань Манучехра, а он не обошел молчанием ни могил предков, ни усымы и сурьмы всех их прабабушек, приносила мне даже какое-то злорадное удовольствие.

Наконец Манучехр выдохся и неожиданно спокойно повернулся ко мне:

— Слушай, Вафо, неужели ты хочешь породниться с этими скандалистами?! Я бы ни за какие деньги не переступил порога этого дома! Будь Рухсора даже самой несравненной жемчужиной, и то... Как вспомню слова ее старшей сестры!.. И вообще, я удивляюсь, что ты в Рухсоре нашел? Что, у нас в институте не было девушек лучше? Даже на нашем курсе... Вон, недавно Санавбар приезжала. Узнала, что ты в халкасайку влюбился, попросила, чтобы я ей Рухсору показал.

— Ну и что? — посмотрел я на Манучехра.

— Жаль, — сказала. — Пропадет Вафо.

— Слушай ты эти разговоры, — буркнул я и отвернулся.

Мы молча дошли до шоссе и на попутном грузовике вернулись в город. Прощаясь со мной, Манучехр неожиданно беспечно улыбнулся:

— Нет худа без добра!

— ???

— А чему тут удивляться?! — весело оскалился Манучехр. — Поход в нашу пользу. По Халкасаю пройдет слух о нашем посещении и о Рухсоре пойдут разговоры. Как говорят, на чужой роток не накинешь платок. Досужие кумушки ославят девушку, и родственники, чтобы избежать сплетен, будут вынуждены выдать ее за тебя замуж. — Манучехр постоял, посвистел, вытянув губы трубочкой, и с довольным

видом повернулся ко мне: — А знаешь, мне показалось, что Рухсора не очень-то к «советам» родственников прислушивается. Иначе... Чего бы им так горячиться? Видно, с характером девушка. И на своем настоять сможет. Так что, положиись на него.

С тем мы и расстались. Хотелось бы мне иметь уверенность Манучехра.

Заснуть я не мог и до глубокой ночи вспоминал все обстоятельства поездки в Халкасай, Проклятый вопрос: «Что делать?»—не давал покоя. Уже к утру решил, что помочь (мне могут только «авторитетные» сваты. Утром отправился к Джура-заде и, рассказав ему обо всем, попросил поговорить с родителями Рухсоры. Учитель, казалось, ничуть не удивился моей просьбе. Впрочем, и особой радости тоже не выразил. Пожевал, по привычке, нижнюю губу и сказал:

— Хорошо. Только... Одному мне ехать неудобно. Я поговорю с давним своим другом, и мы поедем вдвоем. Не завтра, конечно.

Не поехали они и послезавтра. Прошла неделя, прежде чем Джура-заде и его друг — внешне очень солидный «представительный» мужчина лет лятидесяти-пятидесяти пяти, отправились в Халкасай.

Особого успеха их миссия не имела, хотя, как выразился учитель, «сталь их недоброжелательства превратилась в воск внимания». Договорились, что надо подождать годик. Пусть, мол, молодые люди (то есть мы с Рухсорой) проверят свои чувства, а старики (то есть родители девушки) привыкнут к мысли, что Рухсора покинет их дом. Время, мол, само сгладит все шероховатости дела.

Я поблагодарил учителя за участие и поддержку, но видимо тон мой не очень понравился Джура-заде. Он внимательно посмотрел на меня, пожевал губу, хотел что-то сказать, но лишь слабо махнул рукой:

— Не стоит. Иди.

В глазах учителя промелькнула какая-то искорка, и я не понял: то ли он сердится на меня, то ли лукаво усмехается: «Торопишься, молодой человек, торопишься!»

Сейчас, по прошествии времени, дни и события, происходившие со мной после поездки в Халкасай, вспоминаются мрачноватой чередой лиц, разговоров, сценок... Кажется, что я смотрю в трубку серого калейдоскопа, где все эти лица, (разговоры и сценки, уменьшенные в размере, складываются из всевозможных оттенков серого цвета.

...Сразу после нашего с Манучехром «визита» в Халкасай, кто-то из досужих родственников написал жалобу на имя ректора института, где говорилось, что два хулигана, ворвавшись в мирный дом одного из халкасайских жителей, всячески оскорбляли его обитателей, что один из этих хулиганов — преподаватель института, постоянно преследует (ясно, что с нечистыми намерениями) одну из халкасайских девушек, которую колхоз направил учиться в институт с тем, чтобы она высококвалифицированным специалистом вернулась в родной кишлак.

Ректор, получив жалобу, поморщился, как от зубной боли, но сам рассматривать не стал — передал в комитет комсомола. Члены комитета комсомола обсудили жалобу и... единогласно объявили выговор. Устный. Без занесения в личное дело. Я обиделся:

— На каком основании?! За что выговор?

— За то,— серьезно ответил секретарь комитета комсомола.— За то, что ты своей нерешительностью и слабыхарактерностью довел дело до появления подобных жалоб. За то, что сплетни про вас с Рухсорой стали появляться. Ты что думаешь, мы не понимаем, что вся эта жалоба от начала до конца — злобная клевета? — вдруг взорвался секретарь.— Ты не маленький — прекрасно знаешь, с каким трудом мы уговариваем девушек из Халкасай учиться в нашем институте! А какая слава теперь про наш институт пойдет? Какие родители согласятся отпустить ненаглядных дочерей к нам, если здесь преподаватели «преследуют» студенток?! Мы твои чувства к Рухсоре уважаем, но твоя любовь в данных обстоятельствах, не только твое личное дело!

— А чье же еще?— не сдержался я.— Комитета комсомола?

— И комитета комсомола тоже,— твердо сказал секретарь.— Давно бы мог прийти к нам и сказать! «Помогите, ребята. Мы любим друг друга, а родители против...»

— Ну и что?

— Вот походи и подумай: «Что?»

...Рухсора избегает меня. Прячется. Во время наших коротких и случайных встреч на лестницах и в коридорах института мне кажется, что все вокруг вдруг замолкают и смотрят только на нас. Усмехаются. Шепчутся. Много позже Рухсора мне призналась, что у нее было точно такое же чувство. А, наверное, никто и не шептался, до сих пор не могу понять, почему нам так казалось?

...Попросил Манучехра передать Рухсоре записку с просьбой о свидании.

...Никому не дано испытать яд ожидания в большей мере, чем влюбленному. Говорят, что ожидание хуже смерти, и это несомненно. Также несомненно, что эти слова впервые произнес влюбленный, который, как и я, более двух часов ждал любимую... А она не пришла.

Утром я разыскал Манучехра, и можете себе представить, какой у нас с ним получился разговор. В результате Манучехр вновь принялся ругаться, а потом пообещал еще раз встретиться с Рухсорой.

... А она вела себя так, словно ничего особенного не случилось. Подошла, кокетливо покачивая на указательном пальце изящную сумочку, «мило улыбнулась и принялась болтать о всевозможных пустяках. Как будто нам больше и говорить не о чем!

— Оказывается, тебя сватать приходили,— резко прервал я кокетливую болтовню Рухсоры.— А ты даже и не сказала мне!

— Кто это тебя просветил? — насупилась Рухсора.— Кому это понадобилось?

— Сказали,— коротко буркнул, я и отвернулся.

— Нет, ты скажи,— настаивала Рухсора, заглядывая мне в глаза.

—Инобат сказала.

—Ах, вот оно что! — иронически улыбнулась Рухсора,— Твой благожелательный друг! И чего это она в наш институт не поступает? Все ближе была бы...

— Зря ты так... Инобат нам друг и желает только добра,— я все еще сердился, и Рухсора почувствовала это.

— И что же она сказала, твоя Инобат?—колко и холодно спросила она.

— То, что ты сама должна была сказать! — окончательно рассердился я.— Что к тебе «покупатели» приходили.

— И все? — хихикнула Рухсора. И все также кокетливо размахивая сумкой, беспечно доложила.— Трое приходили. Честное слово, я не знала, что они придут. Мне на перемене сказали, что родственники ждут... Я обрадовалась, в вестибюль выскочила, а там... эти... стоят. Что же, мне их палкой гнать? Пришли — пусть смотрят.

— А мне, почему не сказала?

— Боялась, что расстроишься! — Рухсора умоляюще посмотрела на меня, и я не выдержал — улыбнулся.— Когда Джура-заде меня сватать ездил, ты мне ничего не сказал,— укорила меня Рухсора.

— О том, что он собирается ехать в Халкасай, я тебя предупредил, а вот когда он поедет, я и сам не знал... А почему это тебя так задело?

— Да, понимаешь,— смутилась Рухсора,— у нас, в Халкасае, не принято просто так... Без предупреждения свататься.

— Как это? — не понял я.

— Ну-у... Обычай такой. Вначале через знакомых передают, что свататься придут, а сами не приходят. Потом еще раз передают, и еще... И лишь потом сваты приходят, но разговаривают намеками. Считается, что это означает серьезные намерения. Встречаются не один и не два раза...

— Что же, мне еще раз уговаривать Джура-заде на поездку в Халкасай?

— Отец говорил, что порог дома, где живет любимая девушка, очень высок — не у каждого хватит сил взобраться,— лукаво улыбнулась Рухсора.

— У меня этот порог уже вот где сидит,— пожаловался я, постучав ребром ладони по шее.— Скоро с работы уволят — ни одной мысли в голове.

— И правильно сделают! — сердито топнула ножкой Рухсора.— Ты—мужчина! У нас, в Халкасае, настоящие мужчины никогда женщине не жалуются. Я уже тебе говорила, что согласна быть твоей женой, но моя воля в руках у моих родителей. Добивайся у них согласия! Я тебя люблю и никого другого мне не надо, но...

Рухсора резко вздернула вверх голову, отвернулась и замолчала. Я понуро топтался рядом. Что я мог сказать? Что люблю ее? Она и так это знала...

— Глупый ты,— неожиданно ласково сказала Рухсора—Глупый и бестолковый. Поделом тебе выговор дали,— вздохнула она.— Это же сообразить надо — с Манучехром в Халкасай поехать! Хорошо, хоть там на вас собак не спустили — вот весело было бы!

— Кому весело, а кому и нет,— нервно усмехнулся я, вспомнив, как мы с Манучехром пробирались по огородам к шоссе.

— Мы — люди деревенские, неученые, у нас незваных гостей просто встречают... и провожают,— кротко потупилась Рухсора.— У нас



девушек ценят... Вот будет у самого дочка,— покраснела Рухсора.— Узнаешь, каково это — постороннему человеку дочь отдавать!

— Ты как старушка рассуждаешь.

— Не обижайся,— ласково пропела Рухсора. У нее была удивительная способность петь самые обычные слова. Не говорить, а именно петь — легко и мелодично — Знаешь, я думаю, что тебе надо к ректору сходить. Уж, если сам в Халкасай приедет — отец не устоит...

— Неудобно,— засомневался я.— А вдруг не согласится? Если бы с самого начала... А то... Джура-заде уже ездил...

— А ну тебя! — вновь сердито топнула ножкой Рухсора.— На одну ступеньку подняться не можешь, куда уж тебе все крыльцо одолеть!

Я смотрел и любовался. Ну, скажите, есть ли на свете другая такая девушка: сердитая, ласковая и кокетливая одновременно. И гордая. И... моя!

\* \* \*

Осень в наших краях — лучшее время года. По утрам небо такое чистое, что все вокруг кажется хрустально-тонким — тронь и зазвенит. Летом утренние зори полыхают алым пожаром, и зной с рассвета залива-ет долины. Осенние зори нежны и прозрачны, а солнце золотой чашей, медлительно и величаво, всплывает над зубцами гор.

Еще очень рано. Над смутно белеющей стеной хребта только-только, появилась легкая голубизна, с каждой минутой темно-фиолетовое ночное небо наливается этой легкой голубизной, в которой угадывается долгий и ясный день, полный вот такой легкой голубизны, дрожания паутинок и особой чистоты воздуха. Вода в ручье тоже набирает голубизну — вода очень чистая и очень холодная. Я черпаю воду ладонями — она пахнет осенью: палым листом и заморозками; лицо и плечи уже горят, но мне хорошо, я с детства привык к холодной воде.

Этой осенью студенты нашего института уехали на уборку хлопка в колхозы Вахшской долины немного раньше обычного — синоптики обещали скорую непогоду, но пока ничто не предвещало ее, дни стояли сухие и солнечные. Мы — студенты и молодые преподаватели, почти месяц живем в этом колхозе, но за этот месяц я только один раз видел Рухсору — приезжала на центральную усадьбу за покупками в магазин. Первокурсники жили довольно далеко от центральной усадьбы, почти у

самых холмов, что желтовато-размытыми тенями виднелись у горизонта — там колхоз осваивал целинные земли. По вечерам, возвращаясь с поля, я умывался в ручье, ужинал и уходил на край села в сад, где подолгу сидел, уносясь мыслями вдаль.

Лишь к концу месяца мне представилась возможность увидеться с Рухсорой — Исрофилзаде, руководитель группы первокурсников, уезжая на несколько дней в Душанбе, уговорил наше руководство назначить меня его заместителем. «На несколько дней», — говорил он, но эти «несколько дней» растянулись на целый месяц, и не хотел бы я, чтобы в моей жизни этот месяц повторился еще раз!

Без преувеличения могу сказать, что этот день был самым длинным в моей жизни. К вечеру я искурил чуть ли не две пачки сигарет, и едкая горечь уже обжигала мне губы, но я глотал табачный дым, прикуривая сигарету за сигаретой трясущимися от волнения руками. Курил и восстанавливал в памяти все события минувшей недели.

...С первого же дня своего руководства группой первокурсников, я, как вол, впрягся в работу. Высокочтимый и сладкоречивый Исрофилзаде совершенно не вел никакой документации на собранный студентами хлопок, непонятно было, сколько денег мы должны были колхозу за питание, а сколько — колхоз нам, за собранный хлопок. Три дня я мотался от бригадира к табельщику, от него в правление колхоза, и вновь к бригадиру, пока не выяснил все досконально и не навел порядок в документации. Самое обидное было в том, что Исрофилзаде не считал нужным представить меня бригадиру и табельщику как преподавателя института, и они считали меня студентом, назначенным на должность учетчика. Каюсь, но у меня не хватило духу и желания разубедить их. Какая, казалось мне, разница, кем я работаю в институте, главное, что мы все делаем одно общее дело!

По возвращении из Душанбе Исрофилзаде полистал документацию, поговорил с бригадиром и, разыскав меня, объявил, что у него важные дела в «Штабе урожая», что вернется он лишь поздно вечером, и мне следует его непременно дожидаться. Поздно вечером он привез приказ о том, что я остаюсь в группе первокурсников до конца уборочной страды.

Я с радостью согласился, но попросил неделю отпуска, сказав, что отец просил немедленно приехать — что-то случилось дома. Не мог же я сказать Исрофилзаде, что случилось дома!

А дома случилось вот что: Рухсора ездила на пару дней в Халкасай и привезла удивительно-невероятную весть: ее родители ждут моих сватов!

У меня все пело от радости и трепетало от страха в душе, когда я разговаривал с Исрофил-заде, и он весьма подозрительно на меня поглядывал, но на поездку согласился легко:

— Как не уважить просьбу отца! Почтение к родителям искони в крови нашего народа!

Ну и пришлось мне поволноваться за эти дни — врагу не пожелаю! Первым делом предстояло уговорить отца, а это было весьма нелегкое дело. Еще весной, предвидя будущее распределение, отец решил, что работать я должен в родном колхозе, а для этого меня надо, если не женить, то обручить с хорошей девушкой из наших краев. Во время подготовки к сдаче госэкзаменов, когда у меня выдалось несколько свободных дней, а я имел неосторожность сообщить об этом отцу, ко мне в гости вдруг приехал двоюродный брат Хамид. Приехал и уговорил поехать на несколько дней к нему в кишлак — отдохнем, в горы ходим, свежим воздухом подышим! Я согласился и лишь в кишлаке понял, для чего меня сюда пригласили: у дальней нашей родственницы подросла красавица-дочь и... Отец был обижен до глубины души, родственники оскорбились, один лишь Хамид, посмеиваясь, подбадривал меня: «Держись, брат!» Не улучшились наши отношения с отцом и в мой последний приезд к нему, сразу после больницы, когда я довольно туманно намекнул ему, что есть в Душанбе одна девушка, которая...

Отец нахмурился и сказал, что «землю для доброго сада надо брать из высокого бугра», что «женитьба — не напасть, да как бы женатому не пропасть» и так далее. Вы понимаете, что ничего другого отец и не мог сказать — с Рухсорой я его познакомить не имел возможности, а на словах достоинства девушки не опишешь. Я ехал к отцу и ломал голову: как же уговорить его?

Помог все тот же Хамид. Как он ухитрился это сделать — не знаю, но вчера утром я встречал на автовокзале самых дорогих гостей: отца и дядю, раздетых, как будто они собрались на слет ветеранов боевой и трудовой славы.

...Вечерело. Я стоял у окна и трясся, как в лихорадке: сватам давно пора было бы вернуться — они отправились в Халкасай с первым

автобусом. «Что я буду делать, если им откажут? — думал я.— Дядя повидал свет, знает людей и свою линию будет вести твердо, его даже отказ не смутит, а вот отец мой — человек вспыльчивый. Привык ко всеобщему уважению, не дай бог, посчитает себя оскорбленным! Он же мне этого никогда в жизни не простит!»

За окном на улице вспыхнули фонари, широкими пятнами выхватив из сгустившейся тьмы часть переулка, дом напротив общежития, скамейки в палисаднике... Я отошел от окна, походил по комнате, собирая разбросанные вещи, сходил на кухню, поставил на пазовую плиту чайник, дождался, когда он закипел, и заварил большой чайник зеленого чая. Едва я укутал чайник полотенцем, как дверь распахнулась, и отец с дядей появились на пороге. Они улыбались! Они улыбались так широко, что сердце у меня подпрыгнуло от радости.

— Все в порядке, дорогой! Все в порядке! — раскатистым басом грохнул дядя и, тяжело опустившись на стул, принялся стаскивать сапоги,

Отец мой, степенно раздевшись, сел на диван и с довольным видом подтвердил:

— Приятный и прямой человек отец этой девушки.

О, каким чудесным оказался этот вечер, первый понастоящему добрый и радостный вечер после стольких дней волнений и тревог!

Дядя, человек богатырского телосложения, широкоплечий и громкогласый, рассказывал некоторые подробности переговоров:

— Поначалу—вот потеха!— мы попали в дом к совсем другому человеку. Сошли с автобуса, спросили у какого-то мальчишки, где дом Асрорбая, он нам и показал... Подошли мы, постучались, выходит к калитке девушка. Красивая девушка, ничего не скажешь. «Ну,— думаю,— повезло: сама невестка будущая дома оказалась». Спрашиваю: «Это дом уважаемого Асрорбая?» «Да!» — отвечает она. Вошли. Встретил нас седобородый, почтенный человек. «Проходите,— говорит.— Присаживайтесь. Наверное, устали с дороги?»

Ты говорил, что отец Рухсоры— мужчина средних лет, а встретил нас белобородый аксакал, удивился я, но промолчал... В гостиную прошли, девушка чай принесла... Сидим, чай пьем. Одну пиалу, вторую, третью... О погоде разговариваем, видах на урожай. Потом я тихонько спрашиваю:

— Скажите, уважаемый, это не ваша дочь в Душанбе в институте учится?

Старик чаем поперхнулся от удивления. А потом понял, в чем дело, и расхохотался:

— Ошиблись вы! Дом того Аорорбая, которого вы ищете, в другом конце кишлака за мельницей.

Что делать? Извинились за беспокойство и дальше пошли.

— Бог знает, что у них на уме,— невпопад сказал отец, задумчиво поглаживая бороду.

Я с беспокойством взглянул на него. По нашим обычаям, отцу с сыном не полагается разговаривать о женитьбе, и дядя поспешил пояснить:

— Условие они нам поставили. И не одно. Во-первых, чтобы ты дом в городе купил на имя жены. Не желают они, чтобы их дочка в многоквартирном доме мучилась. А во-вторых, они от тебя расписку требуют. Так, мол, и так, обязуюсь никуда из Душанбе жену не увозить...

— Откуда я столько денег возьму — дом купить?!

— Э-э! — беспечно отмахнулся дядя — Это все разговоры. Я уже раз двадцать сватом был — знаю, что к чему. Не беспокойся.

— Бог знает, что у них на душе,— вновь повторил отец и вздохнул.— Ты уж в следующую субботу встречай нас, сынок.

— Угу! — кивнул дядя.— Нас человек шесть-семь будет. Угощение с собой привезем, подарки кое-какие...

Утром я проводил отца и дядю на автовокзал, а сам поспешил в Вахшскую долину: меня ждала Рухсора! В первый раз в жизни я понял, что это такое, когда говорят: «У человека душа поет!». Я готов был обнять весь мир! В каждом я видел друга, каждому мне хотелось сообщить, что самая прекрасная девушка на земле — со вчерашнего дня моя невеста!

Удивительно, но Рухсора не поверила моим словам! Она долго расспрашивала о подробностях сватовства, недоверчиво качала головой, молчала, задумавшись о чем-то своем, и вдруг зарделась:

— Не говори никому ни слова!

Тронула пальчиком мои губы и убежала, проговорив вместо прощания:

— Как это они согласились?!

С этого дня она вновь стала избегать меня. Во время редких и торопливых встреч краснела, задыхаясь от волнения, шептала несколько ласковых слов и спешила прочь. Что творилось с ней? Она и сейчас не говорит об этом — лишь по-девичьи краснеет и надувает губы...

А между тем пошли давно обещанные синоптиками дожди— мелкие и теплые. И грустные. Дожди смыли зелень на слегка приведенных деревьях, но это была уже не праздничная — весенняя зелень, когда после первого дождя она вспыхивает свежо и молодо, а темная, тяжеловатая зелень увядающей природы, расцвеченной широкими мазками золота и багрянца. Томительные это были дни, томительные и грустные. И несчастливые. Воистину, высок порог дома, в котором живет любимая.

## 11. КОГДА ВОСХОДИТ КОМЕТА - ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ

Говорят, что комета — верная примета несчастья. Увидев на небе комету, старики, в крайнем изумлении и страхе, хватают себя за ворот и шепчут молитвы. Все дни прошедшего месяца отмечены для меня вот такой незримой кометой несчастья, и я иногда думаю, что именно сейчас наставница-жизнь разложила передо мной свои экзаменационные билеты, решив испытать все мое мужество.

Мог ли я думать, что грозным предвестником этой незримой кометы станут мягкие слова Исрофил-заде:

— Послушай, Вафо. Я на несколько дней на центральную усадьбу съезжу, а ты побудь здесь за меня.

Это было в четверг, в субботу я должен был быть в Душанбе — встречать отца, но Рухсора строго-настрого запретила говорить о нашей помолвке, и — что делать?! — я согласился.

Несчастье случилось вечером. Я задержался с табельщиком, подводя итоги дня, и, когда подходил к полевому стану, где расположилась моя группа, уже смеркалось. Еще издали я заметил, что ребята возбужденно толпятся у входа, в помещение.

— Что случилось? — тревожно спросил я, подбегая к ребятам.

— Камолу плохо! — несколько голосов ответило сразу, но я уже и сам видел, что Камол, бледный, как полотно, лежит на раскладушке, его

бьет крупная дрожь, а на посиневших губах выступила пена. Я кинулся к складу, где стояла машина, ожидавшая табельщика. Еще на полдороге к складу, я услышал приглушенный расстоянием рев мотора и увидел, как машина рванулась по дороге к кишлаку.

— Стой! Стой! — закричал я что было сил, но машина, набирая скорость, удалилась.

«Лошади! — вспомнил я.— На поле у склада пасутся лошади!»  
Прошло не менее получаса, пока я поймал стреноженную старенькой уздечкой лошадь и взнуздal ее. Вот когда мне пригодилось приобретенное в детстве умение скакать на любой лошади без седла. Я гнал жеребца напрямик через хлопковые поля и даже не думал о том, что любая яма—верная гибель для нас обоих.

К сельской участковой больнице я домчался к полуночи, разбудив по дороге всех кишлачных собак — надо было слышать, каким яростным лаем провожали они меня по кривой кишлачной улице!

Еще через час мы вместе с врачом были у нас, на полевом стане.

Заснул я уже под утро — врач увез Камола в свою больницу, сказав, что ничего определенного он мне сообщить пока не может. Утром я отправил ребят на работу, а старосту предупредил, что поеду в больницу и, возможно, вернусь только через день-полтора... Староста, угрюмо кивнув, пообещал, что все будет в порядке.

В больнице тревога моя немного улеглась. Камол сидел на своей койке и слабо улыбался:

— Ну и перепугал я вас!

Пока я дождался врача — он был на обходе участка, время шло. Со все возрастающей тревогой я посматривал на часы. Времени, чтобы вернуться обратно к ребятам, рассказать им о состоянии здоровья Камола, проинструктировать старосту и, вернувшись в кишлак, попасть на автобус до райцентра, почти не оставалось.

Его не осталось совсем, когда, наконец, появился врач. Врач успокоил меня, с Камолом ничего страшного—видимо, сильна аллергия на какую-нибудь траву (Камол подтвердил это, пояснив, что собирал для девушки цветы — хотел бы я знать, какие цветы поздней осенью!), но времени на разговоры уже не оставалось, и я помчался к сельсовету, надеясь встретить кого-нибудь из нашей бригады, кто может сообщить ребятам о том, что с Камолом все в порядке. И надо же мне было встретить именно нашего табельщика!

Выслушав мою просьбу, он недовольно скривился, но выручить согласился, хитро подмигнув и пожелав приятно провести время в Душанбе.

— Я тоже в молодости грешил! Дело такое... не удержишься!

Не буду же я объяснять незнакомому человеку, что еду решать свою судьбу!

Лишь далеко за полночь я добрался до Душанбе, и сна мне осталось четыре часа, потому что ровно в восемь я уже встречал на автовокзале своих земляков и родственников, нагруженных какими-то свертками, кулками, расшитыми хурджунами. О, как торжественно выглядели они! Как степенно, с каким достоинством переговаривались! Всяк мог определить, что люди едут на торжественное и важное событие! «Переломить лепешку!» — так называется у нас этот обряд, когда люди клянутся свято соблюдать свадебный уговор, и в знак нерушимости клятвы подносят к губам хлеб, целуя его!

Проводив сватов в Халкасай, я дотемна бродил по улицам города, не замечая ни улиц, по которым бреду, ни прохожих — весь во власти охвативших меня дум.

Как-то так получилось, что до сегодняшнего дня я ни разу не задумывался о нашей с Рухсорой будущей жизни, о доме, семье... Все это казалось мне настолько далеким и нереальным, что мысли об этом не приходили мне в голову. И только сегодня я вдруг почувствовал себя ответственным за судьбу Рухсоры, судьбу нашей — нашей! — семьи. Как я ругал себя за беспечность! У меня ни копейки денег не было на свадьбу, нам негде было жить... С каждым часом я мрачнел все более. «Беспечный дурак! — ругал я сам себя.— Столько времени морочишь девушке голову, а ты подумал,, какую жизнь ей готовишь? Давным-давно мог бы найти работу по совместительству... Давать уроки, разгружать вагоны на станции — мало ли возможностей заработать!»

Ветер метнул мне в лицо пригоршню дождевых капель, и я вдруг опомнился. Уже смеркалось. Пока я в полубеспамятстве бродил по городу, погода испортилась. Пошел дождь, холодный ветер мел по асфальту сырую листву, вершины деревьев раскачивались под яростными порывами ветра и жалобно скрипели.

Я поспешил к общежитию. Какой-то человек топтался у ворот и, приглядевшись, я вздрогнул: дядя! «Почему он вернулся?» — не веря глазам своим, думал я.— И куда делась его богатырская осанка? Что слу-



чилось?» Я знал, что сваты должны остаться в Халкасае до завтрашнего дня, сегодня вечером им предстояло объявить кишлачным старейшинам о помолвке и пригласить их завтра на плов, который, по обычаю, должны готовить сваты.

— Что случилось?!— закричал я еще издали.— Что?

— Э-э! Не спрашивай,— дядя печально вытер ладонью мокрое от дождя лицо.— Нет у этих людей ни чести, ни совести. Пойдем в дом, все расскажу.

В комнате дядя скинул с себя пиджак и мокрые сапоги, дождался, пока я вскипятит чай, и продолжал рассказ :

— Я первым пошел. Остальных в чайхане оставил— неудобно сразу заходить, люди подготовиться должны. Ее отец меня встречает и говорит: «После вашего ухода мы еще раз посоветовались, и выяснилось, что мать девушки не согласна. Без согласия матери какой может быть разговор?» Я оторопел даже. «Мы о чем договаривались? — спрашиваю.— Шутка ли стольких людей с места сорвать! Позор на наши головы!» А он свое: «За одну провинность сурово не наказывают. Извините нас!» Ну что ты с ним делать будешь? Так несолоно хлебавши и ушли. В чайхане старики собрались, судили, рядили, бородами трясли, руками разводили: «Не по-мужски поступает!»...

Отец твой обиделся, слов нет! Хорошо, что тебя не застал. Домой уехал. Один я остался — с тобой переговорить...

Дядя отхлебнул из пиалы и внимательно посмотрел на меня. А чего на меня смотреть? Нечего смотреть. Я до ломоты в челюстях сжал зубы — от злобы, ярости, обиды и возмущения меня бил нервный озноб. Все во мне, словно от удара молнии, выгорело, испепелилось....

Вдруг дядя громко выругался, глаза его сверкнули дерзко и хищно.

— Езжай-ка ты к своей девчонке,— проговорил он медленно и хрипло.— И докажи всем этим... халкасайцам, что в нашем роду... настоящие, мужчины...

— Нет! — почти вскрикнул я — Нет!

Боль раздирала мне грудь, адская боль ярости и... любви. Но даже эта боль не давала мне права понять дядю. Не давала! Не имела права давать!

— Нет, так нет,— хищный огонек в глазах дяди мелькнул и погас, он сник и печально вздохнул. — Я не говорил, ты не слышал.

— Ладно,— сказал я, чувствуя, что ярость уступает место твердой уверенности в том, что я добьюсь своего. Я еще не знал—как, но где-то в глубине души верил, что добьюсь. И повторил: — Ладно!

— Ну что ж,— вздохнул дядя.— Ладно, так ладно. Но ты не сдавайся.

— Я и не сдаюсь.

— Вот это самое главное.

Такой у нас вышел разговор.

Беда никогда не приходит одна, и в понедельник утром, когда я пешком пришел на полевой стан бригады — всю дорогу, около сорока километров, от райцентра до полевого стана я прошагал пешком, попутных машин не было, меня встретил грозный взгляд декана:

— Вы где гуляете, бессовестный человек?! У вас студент едва не погиб, а вы изволите по ресторанам разъезжать! Вы опозорили высокое звание преподавателя института, бросив, ради собственных неблагоприятных делишек, умирающего человека; студенты третий день голодают — им не подвезли продукты, а вы?! Как вы смеете себя так вести?!

— Прошу прощения...

— Какое вам еще прощение?! — покраснел от гнева декан.— Вы бессовестный и низкий человек! Ваш поступок мы обсудим на ректорате! Благодарите бога, что уважаемый Исрофил-заде вернулся и вызвал врача! Иначе вас бы судили! Немедленно!

Декан хлопнул дверцей вездеходика и, не слушая моих жалких попыток объяснить, укатил на центральную усадьбу.

Незаметно подошедший Исрофил-заде хлопнул меня по плечу.

— Не переживай, старик. Декан горяч, но отходчив. Это болван-староста бучу поднял. Тут одно на другое нашло. Табельщик забыл старосту предупредить, староста (помнишь, я предостерегал тебя, чтобы ты не так сурово с ним на зачетах обходился) решил поставить в известность руководство... Не огорчайся: перемелется — мука будет. Часика через два подходи к хлопковому складу, бригадир приглашал позавтракать...

У меня голова шла кругом. «Господи, за какие грехи! — думал я уныло.— Что я Рухсоре скажу?»

С Рухсорой разговора не получилось. Когда я сообщил ей о том, что мои сваты вернулись ни с чем, она, испуганно взглянув на меня, прижала к щекам покрасневшие ладони:

— Я так и знала!

— Что — знала?

— Отец прислал письмо... Он пишет, что заходил в институт, разговаривал с каким-то уважаемым преподавателем и тот плохо отозвался о тебе. Сказал, что тебя скоро уволят...

— Этого еще мне не хватало! — пошатнулся я. — Кому я мешаю жить? Кому?

— Не знаю! — Рухсора все еще закрывала ладонями алые щеки. — Почти все преподаватели на хлопке. Только ты да Исрофил-заде бывали в эти дни в институте...

— Я-а? Исрофил-заде? — я ошарашенно хлопал глазами. — Ну, ладно!

Повернулся и пошел к хлопковому складу.

— Ты куда? — слабо вскрикнула Рухсора, но я даже не обернулся.

Бригадир встретил меня на пороге маленькой кибитки, прилепившейся к высокой стене склада. Честно говоря, бригадир мне нравился. Высокий, полный, он целыми днями пропадал в поле, одну за другой объезжая хлопковые карты. Мне нравилось, как он разговаривал с людьми — мягко, но твердо, нравился его открытый и чуть ироничный взгляд, его раскатистый голос. Чем-то неуловимом бригадир напоминал мне моего дядю, а я всегда любил его.

— Здравствуй, сынок! — бригадир широко распахнул свои объятия. — Пусть минуют тебя всяческие горести и заботы! Вчера наша бригада выполнила обязательство и в этом есть немалая доля твоего труда, сынок. Поверь мне — старому человеку, я многое повидал в жизни, пришлось даже колхоз возглавлять, и прямо скажу — рабочий ты человек. Трудящийся. Я слышал, что у тебя неприятности, — бригадир наклонил голову, заглядывая мне в глаза. — Не переживай. Жаль, не успел я с вашим деканом сам переговорить — опоздал немного, но... Успею. Поговорю. Правда — она всегда правда! Пошли. Посидим, позавтракаем...

Завтрак был роскошный. На дастархане дымилось блюдо с жареным мясом и картошкой, рядом краснели помидоры, зелень мяты и кинзы соседствовала с алой мякотью арбузов...

Многозначительно подмигивая, кривоносый табельщик достал бутылку водки и, ловко распечатав ее, разлил водку в пиалы.

— Пусть убережет нас бог от глупого друга, бесстыжей жены и всезнающего-начальника,— провозгласил тост Исрофил-заде и ловко опрокинул пиалу в рот.

Бригадир степенно выпил, крикнул, разглаживая ладонью усы, и потянулся к помидорам. Табельщик, сложив трубочкой губы, с каким-то свистом втянул в себя водку и причмокнул от удовольствия. Все смотрели на меня и я, покраснев, хотел было лихо, одним духом осилить содержимое пиалы, но поперхнулся и, закашлявшись, бессильно хватал ртом воздух.

— Ничего,— добродушно усмехнулся бригадир.— Бывает. Ты и не привыкай...

Все дальнейшее я помню, словно во сне. Исрофил-заде наливал мне снова и снова, вначале я отказывался, а потом стал пить подряд, находя в собственной храбрости даже удовольствие. Потом мы стояли во дворе склада и я, сжимая кулаки, обещал Исрофил-заде набить морду. Я прямо так говорил ему:

— Морду набью!

А земля качалась под ногами, и Исрофил-заде смеялся, глядя, как я пытаюсь утвердиться на этой раскачивающейся земле.

Потом я увидел перед собой Рухсору и немного протрезвел. Она что-то говорила мне, но я не слушал, не хотел ее слушать, а хотел избить Исрофил-заде, потому что ясно понимал, это он, только он мог сказать отцу Рухсоры, что меня скоро уволят с работы, что я вырос в детдоме и все родственники мои — проходимцы.

Я это понимал так ясно, что удивлялся, почему меня не слышат все эти люди: Рухсора, бригадир, табельщик, заместитель декана, который почему-то появился здесь.

Проснулся я поздно. Солнце уже стояло высоко, когда я поднял тяжелую голову и огляделся. На полевом стане царила тишина — все были в поле, и это немного успокаивало: хоть без разговоров обойдется. Припомнил минувший день и едва не сошел с ума от стыда и горя: «Что натворил! Уехать! Немедленно уехать отсюда и никогда более не встречаться ни с кем!»

Где-то за стеной взревела машина, я торопливо побросал в чемодан свои вещи и выскочил во двор. У ворот стояла машина с

наращенными металлической сеткой бортами, я бросился к ней и столкнулся с бригадиром. Он посмотрел на меня, мой чемодан и усмехнулся:

— Бежишь? А зря. Если хочешь знать, я больше тебя виноват... Нехорошо получилось, но... Может, оно и к лучшему? — усмешка в глазах бригадира исчезла, уступив место твердому прищуру.— Может, без тебя легче разобратся будет, а? И мне, старому дураку, впредь наука. А тебе один совет: если хочешь драться — дерись на трезвую голову. И до конца.

Бригадир сам открыл дверцу кабины и приказал шоферу завезти меня на автобусную остановку.

— Прощай,— кивнул он мне.— Больше, наверное, не увидимся. А за работу твою спасибо. Умеешь ты работать, сынок. Туго будет, приезжай к нам. Работа найдется.

Больше я никогда не встречался с тем бригадиром, но совет его — драться на трезвую голову и до конца, запомнил на всю жизнь. Только еще не скоро я научился этому искусству...А ведь простая истина.

## 12. ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

...Неделю я жил у отца. В этом году он пошел на пенсию, в его годы трудно обходиться без сыновьей поддержки — в доме одни женщины, а хозяйство порядочное: дойная корова, восемь баранов, пятнадцать соток огорода... Наш кишлак расположен далеко от райцентра и на базар не наездишься, выручает огород. Выручать-то он выручает, но сколько труда требует! Кто не жил и не работал в деревне, не знает, каким потом каждый клубень картофеля, каждый помидор достается!

С утра до ночи я возился во дворе и на огороде, отец подходил — помочь, но ничего не говорил, только вздыхал. А что тут скажешь, все давным-давно сказано.

Иногда подойдет сосед, постоит рядом, кивнет на отца и тоже вздохнет:

— Тяжело ему. А ведь тебя в колхозе с раскрытыми объятиями примут. Чего уж лучше? Дома, отец с матерью рядом, женишься — дети пойдут... Что человеку надо?

И действительно, что надо человеку, который бросил любимую девушку, потерял любимую работу, опозорился перед всем белым светом? Что надо этому человеку? Целую неделю я до изнеможения трудился по хозяйству, а ночи проводил без сна. Через неделю не выдержал — поеду в Душанбе. Надо же, в конце концов, определяться... Если уволят из института — буду искать другую работу...

В институте меня встретили так, словно ничего не случилось. Даже декан.

— Ну, как там отец себя чувствует? — спросил он приветливо. — Не болеет?

— Прихварывает, — промямлил я.

— Годы, годы берут свое, — развел руками декан — Ну, ничего... После собрания зайдите ко мне...

Декан кивнул и пошел дальше, а я остался стоять дурак-дураком. Какое собрание? О чем? Когда?

Мимо, пыхтя как паровоз, промчался Манучехр — он вечно куда-нибудь опаздывал, и я с трудом остановил его, вцепившись в полу пиджака.

— А, это ты? Приехал? — пыхтел Манучехр, выдергивая пиджак из моих пальцев. — Отпусти. Некогда. Тебя Рухсора ищет. А завтра собрание... Рухсору найди! — последние слова Манучехр прокричал уже набегу.

Я еще с полчаса послонялся по институту и в полной растерянности отправился домой. Во всех религиях мира есть предания о муках ада и блаженствах рая. Чушь это. Нет никакого ни ада, ни рая где-то там, в потусторонней жизни. И ад, и рай — в нас самих. И вот уже неделю я сгораю в адском пламени собственной совести... С этими мыслями я и уснул, что впоследствии очень удивляло меня. Обычно любой пустяк лишает меня сна, а тут... Один разговор с деканом чего стоит!

Утром меня разбудил стук в дверь.

— Не валяй дурака, заходи! — крикнул я и вновь повалился на кровать.

— Ты чего это разлегся? — удивился Манучехр.— Ты же всегда с жаворонками поднимался.

— А что мне делать?

— Как это — что? — еще более изумился Манучехр.— Тебя. Джура-заде уже неделю ждет...

— Я ухожу из института.

— Ты с ума сошел!— возмутился Манучехр.— Ты с Рухсорой разговаривал?

— Нет еще.

— О, боже! — картинно схватился за голову мой друг.— И это говорит человек, которому самая прекрасная девушка вселенной отдала свое сердце! Да знаешь ли ты, жалкий трус и дезертир, на что способна женщина, когда она любит?! Нет, ты не знаешь этого и не достоин знать! Лишь в память о былой нашей дружбе я могу сообщить тебе, что она поехала в свой Халкасай, и только перья полетели от всех тех, кто стоял у нее на пути!

Манучехр еще трепался, а я уже торопливо натягивал свитер.

— Пстой, мой друг, пстой! Не покидай так скоро! — пропел он фальшиво, обхватив меня за плечи.— Ты не забыл, что сегодня собрание и тебя будут чистить с песком и мылом?

— Какое собрание? — остановился я.

—Комсомольское собрание преподавателей института,— торжественно объявил Манучехр.— Твой вопрос в повестке дня — третий. Выговор с предупреждением можешь считать обеспеченным!

Так вот, оказывается, в чем дело! Вот почему мой друг так болтлив и весел — хочет поддержать и подбодрить... Ладно, собрание потом, главное сейчас — разговор с Рухсорой!

Я мчался к институту и клял себя на чем свет стоит. Эх, Манучехр, знал бы ты, что твоя ругань — райская музыка по сравнению с теми словами, которыми я обзывал сам себя! И как такого самодовольного чурбана земля носит! И...

— Вафо!

Голос Рухсоры я узнал бы среди миллионов других девичьих голосов, а окликнула меня именно она!

Рухсора стояла совсем рядом—руку протянуть — и улыбалась, глядя на меня.

Стоит ли рассказывать о дальнейшем?

О том, как меня чистили и драили «с песком и мылом» на комсомольском собрании? И, надо признать, что справедливо драили, потому что, как вновь повторил наш суровый секретарь комитета комсомола, «дело это не только личное»...

О том, что самый главный сюрприз ждал меня после собрания, когда мы вместе с Манучехром отправились к дяде Рухсоре. И как вы думаете, кем оказался этот дядя? Даю слово, вам и в жизнь не догадаться! Тем самым суровым добряком Джавад-заде, тем учителем, с которым я вместе лежал в больнице! И... дай бог счастья Инобат, потому что это она связала концы с концами во всей этой истории.

Но это случилось не в тот день. И даже не в другой. А в тот прекрасный день мы возвращались от Джавад-заде поздно ночью, Рухсора осталась ночевать в доме дяди, а Манучехр шел и кричал мне в ухо:

— После поездки в колхоз... Ты заметил? Рухсора переменялась! Я теперь спокоен на ее счет. А ты как думаешь?

— Я тоже,— коротко ответил я, чтобы он замолчал и не мешал мне думать.

О чем я думал?

Если считать, что с институтской скамьи я поступил в школу жизни, то сегодня я окончил первый класс. Какие оценки мне поставила жизнь? Сам я считал, что все экзамены, кроме единственного — любви к Рухсоре, я провалил с треском. И это — первый жизненный урок, который я уже не забуду, первая ступенька на крыльцо в дом, который называется «Настоящий человек».

Итак, моя повесть подходит к концу. Нет необходимости описывать подробности нашей свадьбы. Почти все свадьбы похожи друг на друга. И наша свадьба ничем особенным не отличалась: полусовременна, полутрадиционна... Многие могут сказать, что и эта повесть о любви не нова — каждый любил, и многие писали о своей любви. Все это верно, почти так же верно, как то, что все простые истины на земле каждый должен открывать сам.